МАРК АЛДАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 7

ЛЕНИН

Политическая биография

Москва 2007
ТЕРРА ТЕРРА
книжный клуб

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В седьмой том Собрания сочинений Марка Александровича Алданова (1886—1957) вошли: роман «Самоубийство» (отд. изд. 1958 г.), художественно воссоздающий переворот, совершенный в России под руководством Ленина, а также книга «Ленин» (1919), являющаяся документальным исследованием личности вождя и его мировоззрения. Это произведение, увидевшее свет в 1919—1920 гг. за рубежом, впервые представлено на русском языке в нынешнем Собрании сочинений, поскольку оригинал выявлялся по всему миру и безжалостно уничтожался. С присущей ему сдержанностью Алданов вскрывает глубокую аморальность не только русского лидера большевиков, но и вообще любой революции. В книге дано сопоставление русской и французской революций, русских и французских деятелей, пришедших к власти на волне народного недовольства.

-
- ЛЕНИН
  - Вступление
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - Глава I ЭТАПЫ ЛЕНИНСКОГО ПУТИ
    - Глава II ЛЕНИНСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 1894—1904 ГОДОВ
    - Глава III МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ ЛЕНИНА ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1905—1906)
    - Глава IV МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЕНИНА
    - Глава V О ПРЕДСКАЗАНИЯХ ВООБЩЕ И О ЛЕНИНСКИХ ПРЕДСКАЗАНИЯХ В ЧАСТНОСТИ
    - Глава VI[103] ЛИЧНОСТЬ ЛЕНИНА
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - Глава I ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: КАРЛ МАРКС
    - Глава II ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: МИХАИЛ БАКУНИН
    - Глава III ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ЖОРЖ СОРЕЛЬ
    - Глава IV СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА
    - Глава V ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИДЕИ БОЛЬШЕВИЗМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Глава VI ПОЛОВИНЧАТЫЙ БОЛЬШЕВИЗМ: ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - Глава I СОЦИАЛИЗМ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО: ЖАН ЖОРЕС
  - Глава II МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ ИДЕИ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80

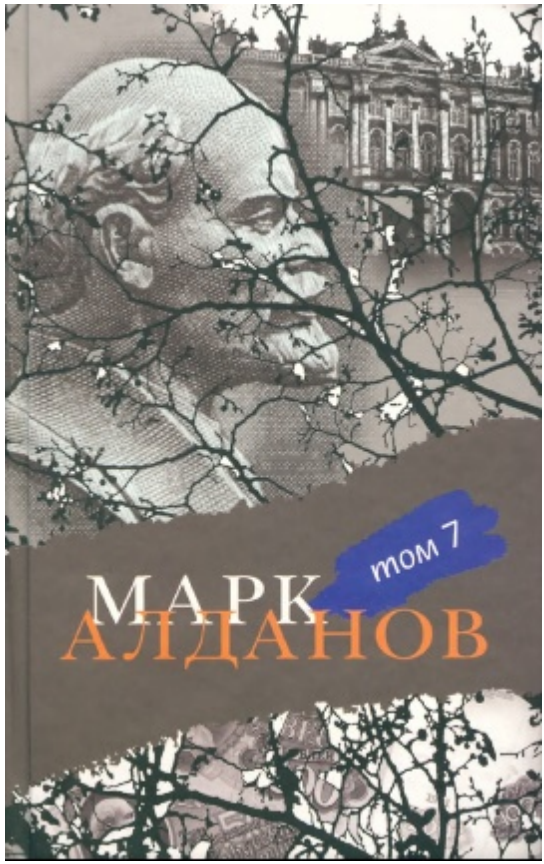
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124

- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168

- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212

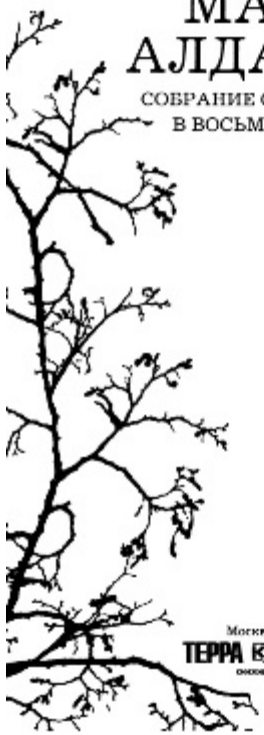
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256

- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297


том 7
МАРК
АЛДАНОВ

МАРК АЛДАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ



Москва 2007
ТЕРРА TERRA

МАРК АЛДАНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 7

ЛЕНИН
Политическая биография

Москва 2007
ТЕРРА ТЕРРА
книжный клуб

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6 А49
Составитель А. Чернышев
Оформление художников Ю. Дубровской, Е. Савченко
Издательство выражает глубокую благодарность сотрудникам Отдела информационно-политического обслуживания Государственной общественно-политической библиотеки И.П. ГЕТЬМАН и О.А. ВАЖНО за помощь в разыскании цитируемых автором в книге «Ленин» источников и сверку цитат

Алданов М.А.

А49 Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7: Самоубийство: Роман; Ленин: Политическая биография / Пер. с фр. Т. Чугуновой / Сост. А. Чернышева. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2007. — 624 с.
ISBN 978-5-275-01605-5 (т. 7)
ISBN 978-5-275-01607-9

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-275-01605-5 (т. 7)
ISBN 978-5-275-01607-9
© А. Чернышев, состав, 2007 ©Т. Чугунова, перевод с французского, 2007
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2007

ЛЕНИН
Политическая биография

Вступление

В этой книге я ставлю перед собой двойную цель. С одной стороны— изучение сильной и довольно-таки любопытной личности. Ни один человек, даже Петр Первый, не оказал такого влияния на судьбы моей родины, как Ленин. Ни один человек, даже Николай II, не причинил ей столько зла: ведя речь о деспоте, в порядке вещей прибегать к сравнениям с ему подобными.

Россия дала миру великих гениев, глубоких мыслителей. Но ни один из них не воздействовал так на западный мир, как этот фанатик, может быть, даже не обладавший большим умом. И чтобы этот потрясающий воображение факт стал явью, потребовалось два бедствия мирового масштаба: война и революция. Они-то и выдвинули на авансцену истории разрушителей: Людендорфов и Лениных.

С другой стороны, я желал бы, чтобы эта книга стала опытом философского осмысления событий общественной жизни. И главная ее тема — коммунистическая революция. В поисках генезиса большевистской доктрины никак не обойтись без обращения к теориям Карла Маркса, Михаила Бакунина, Жоржа Сореля, которые сегодня, после пережитого в 1914—1919 годах, предстают в новом свете.

Считаю себя обязанным с самого начала предупредить читателя о главной концепции, которую развиваю в этой книге, дабы он взялся за ее чтение либо отложил ее в зависимости от характера и степени неколебимости своих политических воззрений.

Данный труд написан социалистом[1], который еще к тому же контрреволюционер и антимилитарист: эти два слова употреблены здесь не в том фальшивом и искусственном значении, которое они имеют на митингах, где звучит жаргонная речь, но в их исконном и точном значении. Можно быть антимилитаристом, не желая при этом утопить национальный флаг в куче навоза. Можно быть контрреволюционером, не разделяя политические идеи Столыпина. Слова эти на самом деле означают следующее:

Нам не нужны ни войны, ни революции, ни сегодня, ни завтра. Мы видели их вблизи, с нас довольно. Оба эти явления стоят одно другого как с нравственной точки зрения, так и с точки зрения прогресса человечества. Да и похожи настолько, что можно принять одно за другое. Мы считаем их худшими из бед, которые могут постигнуть свободные народы.

Ныне все европейские страны, за исключением России, имеют

институты, позволяющие сражаться на идейном уровне, не строя баррикады и не расстреливая друг друга. И потому нашим желанием является, чтобы революция, которая опрокинет большевистскую тиранию, стала последней из революций. Ежели это лишь мечта, тем хуже.

В другой своей книге («Армагеддон»), написанной в 1914—1918 годах (на русском языке), я попытался показать, что мировая война означает страшный кризис, может быть, гибель определенных принципов, которыми вдохновлялись как сторонники, так и противники социального порядка старой цивилизации. Я был рад натолкнуться на аналогичную мысль в недавно опубликованной статье г-на Гульельмо Ферреро[2]. Прославленный историк проводит параллель между кризисом наших дней и кризисом III века, порожденным гражданскими войнами, последовавшими за смертью Александра Севера и приведшими к падению авторитета римского Сената. Античная цивилизация так и не оправилась после этого кризиса. Получится ли это у нас? Обладает ли наша цивилизация стержнем, который мог бы служить основой стабильного социального порядка? Такова задача. Ясно, что было бы бессмысленно искать подобных целей у людей, ответственных за катастрофу войны, как и у тех, кто хочет ввергнуть нас в пропасть всемирного большевизма.

Кошмар, начавшийся в 1914 году, не кончился. Вино открыто, следует его выпить. Что может быть вернее и печальнее этой пословицы... Да, нужно выпить вино, открытое кем-то другим. И выпить до конца.

Ноябрь 1919, Париж

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I ЭТАПЫ ЛЕНИНСКОГО ПУТИ

Разумеется, я не намерен давать здесь биографию Ленина. Но без некоторых биографических данных никак не обойтись, имея в виду цель, которую я преследую. Я почерпнул их почти полностью в большевистских источниках, в частности, в книге, которую г-н Зиновьев, преданный друг и соратник Ленина, только что о нем написал[3]. Любопытен тон, характерный для этой книги, — тон глупого преклонения. Впрочем, у каждого Дон Кихота такой Санчо Панса, которого он заслуживает.

Приберегая для следующих глав изложение эволюции идей большевистского лидера, мы коснемся здесь лишь некоторых этапов его жизни.

Владимир Ильич Ульянов, ныне получивший всемирную известность небывалых размеров под псевдонимом Ленин, родился 10 апреля 1870 года в Симбирске. Его отец, бывший статским советником, являлся директором народных училищ этого города — достаточно высокий пост в Министерстве народного образования России, дававший право на то, чтобы занимающего его величали Ваше Сиятельство. Ленин — выходец из дворянского рода. Достаточно распространенная легенда гласит даже о древности и богатстве семьи Ульяновых. Однако г-н Зиновьев утверждает, — возможно, для того, чтобы успокоить демократически настроенных читателей, — что отец Ленина был крестьянского роду-племени. Впрочем, было бы довольно затруднительно извлечь какие-либо заключения о «влиянии среды и касты», коль скоро имеешь дело с личностью и делами Ленина, в котором претенциозная необузданность мелкопоместного дворянина замечательно сочетается с элементарной хитростью крестьянина.

Ленин еще учился в гимназии, когда разразилась трагедия, в которой главную роль играл его старший брат. К этому времени (1887) партия «Народная воля» — самый активный участник революционной борьбы в конце царствования Александра II, — организовавшая серию покушений на этого монарха, последнее из которых (1 марта, по старому стилю 13 марта 1881 года) стоило ему жизни, была уже разгромлена: большая часть ее членов казнены, Герман Лопатин[4], последний из ее руководителей, задержан и брошен в казематы Шлиссельбурга.

Неравный бой горстки интеллигентов с самой мощной в

истории автократией, казалось, закончился. Резкий отпор, данный властью в лице Александра III и Победоносцева, самого приближенного из царских советников, — позволил ей одержать верх в этом бою. Но идеи, которыми вдохновлялась партия, и в частности идея борьбы с абсолютизмом с помощью террористических актов, продолжали жить в среде русских интеллигентов. Главный теоретик партии «Народная воля» Николай Михайловский — знаменитый публицист, социолог и литературный критик, — утверждал позднее, что покушения не достигли своей цели — добыть политическую свободу в России, но не оттого, что далеко продвинулись по этому пути, а оттого, что продвинулись по нему недостаточно далеко. Впечатление от покушения на Александра II было огромным. Если бы Александра III, большего реакционера, чем его отец, ждала та же участь, несмотря на все предосторожности, пущенные в ход полицейским аппаратом, усовершенствованным к этому времени, возможно, второго удара строй не пережил бы и рухнул. Так, по крайней мере, считало поколение молодых революционеров, к которому принадлежал студент Александр Ульянов, старший брат Ленина. Новое террористическое покушение на жизнь Александра III намечалось небольшой группой молодых людей, во главе которых он стоял, на 1/13 марта 1887 года, шестую годовщину со дня смерти Александра II. Царя собирались убить на Невском проспекте с помощью адских машин. Но полиция, которую предупредили, задержала террористов с бомбами в руках и предотвратила покушение. Александр Ульянов и четверо его товарищей были повешены во внутреннем дворе Шлиссельбургской крепости. Эта трагедия, известная под названием «дело второго 1 марта», явилась последним ударом для партии «Народная воля», которая так и не смогла от него оправиться.

Эта партия строила свою политику на идеях, вошедших в историю русской мысли под названием популистские. Популисты (народники) верили в возможность для России избежать капиталистической стадии экономического развития, через которую прошли старые европейские нации. Они считали возможным прямой переход к режиму всеобщего благоденствия и более-менее верили в социалистический инстинкт русского крестьянина. В своих возвышенных идеалистических устремлениях они проповедовали идею об обязанности всех русских интеллектуалов посвящать свою жизнь и свои знания делу несчастного народа, чья вековая нищета позволила самим этим интеллектуалам достичь высокого уровня цивилизованности. Они не допускали доктрины экономического

материализма, которую Михайловский подверг в высшей степени замечательному критическому разбору. Не разделяя точки зрения теории научного социализма, предполагающего освобождение мира одним лишь рабочим классом, они ничуть не верили и в то, что пролетаризация крестьянских масс может являться основой всеобщего прогресса.

Эта смесь утопических идей с верными устремлениями, за которую сражалось и погибло столько русских людей, с начала 90-х годов встретила очень активное сопротивление со стороны молодого поколения, проникнутого идеями Карла Маркса. Между Михайловским и его последователями, с одной стороны, и марксистами— с другой, завязалась идейная борьба; к последним принадлежал Плеханов, лидер социал-демократов, и Струве, ныне находящийся на правом фланге партии кадетов. Они были основными протагонистами. Эта ставшая знаменитой полемика между популистами и марксистами, возможно, не закончилась и по сию пору. И сегодня еще две социалистические партии— социал-лейбористы и социал-революционеры— вдохновляются идеями Николая Михайловского, отбросив то, что изжито самой жизнью[5], в то время как марксизм по-прежнему остается теоретической базой социал-демократической партии.

По всей видимости, Александр Ульянов принадлежал к поколению популистов, которое уже познакомилось с некоторыми идеями Карла Маркса. Почти накануне покушения 1 марта 1887 года он совместно с М. Кольцовым собирался издать серию брошюр, первым номером которой намечалась статья Маркса о гегелевской философии в переводе последнего[6].

Владимир Ульянов (псевдоним Ленин) поступил по окончании классической гимназии на юридический факультет Казанского университета. Вначале он принадлежал к группе студентов, увлекающихся идеями народничества, но вскоре отошел от нее, стоило ему познакомиться с учением Маркса. Исключенный из Казанского университета за «участие в манифестации», он отправился в Петербург и сдал государственные экзамены на факультете права, что в России соответствует получению диплома о высшем образовании.

«Юридическая карьера, однако, не прельстила товарища Ленина. Владимир Ильич всегда в очень юмористических тонах[7] рассказывал о немногих днях своей адвокатской „практики”»[8]. Он почти тотчас оставил карьеру правоведа и стал профессиональным революционером: подобная профессия возможна лишь в России. Эта реалия имеет значение: немалое количество политиков, сыгравших заметную роль в событиях 1917—1919 годов, являются профессиональными

революционерами, никогда ничем другим не занимавшимися.

«Когда тов. Ленин был исключен из Казанского университета, он явился в Петроград. И он рассказывал нам, как, слегка заразившись уже в Самаре марксистскими идеями, он ходил по Петрограду и разыскивал марксиста. Жив человек. Жив человек, отзовись! — звал тов. Ленин. Но „порода" марксистов была тогда крайне редка. Марксиста не было в Питере, его надо было искать днем с огнем. Народники владели умами всей интеллигенции, а рабочий класс только еще просыпался к политической жизни. И вот молодой товарищ Ленин через 1—2 года создает в Петрограде первые рабочие кружки и сплачивает вокруг себя первую группу интеллигентов-марксистов»[9].

В начале 90-х годов Ленин принял участие в создании Союза борьбы за освобождение рабочего класса. «По поручению этой организации он проводит первые рабочие стачки, пишет первые простые и скромные гектографированные листки, в которых формулирует экономические требования петербургских рабочих... Он днюет и ночует в рабочих кварталах. Его преследует полиция. Он имеет только маленький кружок друзей. Почти вся так называемая революционная интеллигенция того времени встречает его недружелюбно. Это была пора, не слишком далекая от той, когда народники сжигали первые марксистские сочинения Плеханова, на которых учился и Ленин»[10].

Отметим в этой цитате красоту стиля (как говорил гоголевский персонаж), характеризующую талант г-на Зиновьева и заставляющую его приукрашивать правду (это также одна из черт его таланта), превращая молодого Ленина в некоего непризнанного пророка, преследуемого недобрыми народниками, которые чуть ли не заодно с полицией. На самом деле Ленин в Петербурге занимался тем же, что и сотни других молодых людей. Он не состоял под особым надзором полиции и, уж конечно, очень мало привлекал к своей особе внимание «интеллектуалов, так называемых революционеров эпохи». Кстати, тюремный срок Ленина (не говоря уж о г-не Зиновьева) весьма невелик и не идет ни в какое сравнение[11] с подлинным мученичеством, выпавшим на долю большинства народников, которые ныне большевистской властью считаются реакционерами. Идейные преследования, которым он якобы подвергся со стороны загадочных народников, «сжигавших книги Плеханова», — плод чистой фантазии. Напротив, приближалось время, которое сам Ленин окрестил «медовым месяцем легального марксизма»: «А в это время выходили одна за другой марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились повально все, марксистам

льстили, за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг»[12].

К концу 90-х годов Ленина задержали и выслали. С тех пор он стал эмигрантом и оставался им, с небольшими перерывами, вплоть до 1917 года.

В 1901 году вместе с Мартовым и Потресовым Ленин основал газету «Искра», сыгравшую важную роль в истории революционного движения в России. Двумя годами позже социал-демократическая партия России, основанная в 1898 году, разделилась на две фракции: большевистскую и меньшевистскую. Ленин покинул редакцию «Искры», ставшей меньшевистской, и основал первый большевистский орган: «Вперед». В 1905 году состоялся первый исторический Съезд, заложивший основы сегодняшней коммунистической партии (третий Съезд социал-демократической партии). Этот Съезд был организован и проведен Лениным. Со времени разделения партии на две фракции он стал неоспоримым вождем и главным теоретиком большевиков.

В 1905 году разразилась первая русская революция. Г-н Зиновьев — совершенно верно — квалифицирует роль Ленина в ней как огромную и направляющую: Ленин проиграл первую русскую революцию. Идеи, которые он в ту эпоху проповедовал, сводились к следующему: бойкот Думы, борьба с «контрреволюцией кадетов», организация вооруженного восстания для создания революционной и демократической диктатуры. Мы еще вернемся к этим идеям, которые он развернул в своей брошюре «Две тактики социал-демократии». Оценка расстановки сил двух враждующих лагерей, сделанная Лениным, была ошибочной. Меньшевики вменили ему это в вину. Однако опыт 1917 года, хотя и проведенный в условиях, отличных от условий 1905 года, показал, что меньшевики возможно преувеличивали значение охранительных сил в России.

Со стороны роль Ленина в революции 1905 года скорее незначительна. Совет рабочих депутатов Петербурга был основан и управляем меньшевиками. Его возглавляли сперва Хрусталев-Носарь, а затем Троцкий. Ленин не принимал в нем никакого участия: «На заседаниях Петроградского Совета в 1905 г. он побывал всего раз-другой. Тов. Ленин рассказывал нам, как сидел он на собрании Совета в Вольно-Экономическом обществе где-то наверху, на хорах, незаметно для публики, и смотрел впервые на Петроградский Совет Рабочих Депутатов. Тов. Ленин жил в Петрограде нелегально, партия запрещала ему выступать слишком открыто. От нашего Центрального Комитета выступал официальным представителем в Совете А. А. Богданов. И когда

стало известно, что Совет арестуют, мы запретили тов. Ленину пойти на это последнее историческое собрание Петроградского Совета — чтобы он не был арестован. Он видел Совет в 1905 году 1—2 раза. Но, я думаю, уже тогда, когда он в Вольно-Экономическом обществе сидел наверху в сторонке и смотрел на этот первый рабочий парламент, в его мозгу, вероятно, уже тогда зарождалась мысль о Советской власти»[13].

В 1907 году Ленин вновь отбыл за границу.

«В эмиграции Ленин был дважды,— продолжает рассказ г-н Зиновьев. — Он провел в ней несколько лет. Вторую эмиграцию мне и другим товарищам пришлось разделить с ним. И когда нам бывало тяжело и тоскливо, особенно в последнее время, во время войны, когда мы падали духом (те товарищи, которые были в эмиграции, знают, что это значит, когда годами не слышишь русской речи, когда истоскуешься по родному русскому слову[14]), товарищ Ленин говаривал: что вы жалуетесь, разве это эмиграция? Эмиграция была у Плеханова, у Аксельрода, которые в течение 25 лет все глаза проглядели, пока увидели первого рабочего-революционера.

На самом деле Владимир Ильич томился в эмиграции буквально как лев в клетке. Ему некуда было приложить свою громадную неиссякаемую энергию, и он спасался только тем, что вел образ жизни ученого. Он делал то, что делал в своей эмиграции Маркс. Он проводил по 15 часов в день в библиотеке и за книгами и недаром является теперь одним из самых образованных марксистов и вообще самых образованных людей нашего времени»[15].

В этом г-н Зиновьев безусловно непререкаемый авторитет.

Ленин опубликовал за границей несколько брошюр и руководил изданием нескольких большевистских газет. В 1912 году он обосновался в Кракове, чтобы быть поближе к большевистскому движению в России. Его самым близким сотрудником по делам в России и преданным другом был тогда Малиновский, депутат Думы от социал- демократической партии.

Малиновский был секретным агентом Жандармского управления. За ним в его темном прошлом водились грешки, о чем было известно полиции. Ему предложили предать их забвению в обмен на услуги службе политического сыска. Он согласился. В конце концов дело дошло до того, что его кандидатуру выставили на выборах в Государственную Думу, куда он и прошел благодаря объединенным усилиям большевиков и полиции. В качестве лидера парламентской фракции большевиков он при всяком удобном случае произносил ультрареволюционные речи. Иные из них были ему подсказаны и

даже продиктованы Лениным, которого Малиновский часто навещал в Кракове. Иные вышли из-под пера Белецкого, директора Жандармского управления, одного из самых замечательных полицейских царской России, которых, впрочем, было немало. Малиновский же был слугой двух господ. Благодаря ему и литератору Черномазову, еще одному агенту, осуществлявшему руководство «Правдой», органом большевистской партии, Белецкий был не только в курсе всего, что происходило в руководящих кругах большевизма, но и оказывал на их действия некое таинственное влияние. Малиновский пользовался полным доверием Ленина и Зиновьева. Когда г-н Бурцев обвинил[16] третьего известного большевика, Житомирского, в том, что он провокатор, подосланный Охранкой, Ленин направил к нему Малиновского, с тем чтобы тот потребовал доказательства подобного обвинения. Одновременно Малиновский был уполномочен Белецким добиться по возможности от г-на Бурцева сведений об источниках, из которых он узнает о провокаторах. Но г-н Бурцев, то ли по инстинктивному недоверию, то ли по счастливой случайности, не раскрыл их ему, несмотря на все его усилия[17].

В 1914 году о том, что один из секретных агентов Охранки— депутат Государственной Думы, узнал заместитель министра внутренних дел Джунковский. Он счел такое положение дел немыслимым и опасным для престижа властей и потребовал немедленной отставки Малиновского с поста депутата. Тот подчинился и отправился за границу. По этому поводу не было сделано никакого официального заявления, но в обществе и в прессе поползли слухи о необычайном случае предательства. Ленин и Зиновьев, однако, всем своим авторитетом поддержали Малиновского, несмотря на прямое и не оставляющее сомнений обвинение, выдвинутое против него в декабре 1916 года г-ном Бурцевым, большим докой в этой области. Они вынуждены были признать этот факт лишь после революции, когда в печати появились доказательства провокаторской деятельности Малиновского[18].

Через Малиновского, Черномазова и через других преданных сторонников большевизма, которые часто наведывались в Краков за инструкциями, подобно тому как католики наведываются в Ватикан, Ленин оказывал сильное влияние на большевистское движение в России. Возможно, загадочные взгляды Белецкого совершенно согласовывались с экстремистскими приказами Ленина, о чем пойдет речь в следующих главах.

Война застала Ленина в небольшой деревушке Галиции. Он был задержан местными властями, но австрийское правительство

быстро сообразило, что для него выгодно предоставить полную свободу действий подобному русскому. Его выпустили, и он отправился в Швейцарию. Его роль в пропаганде, которая привела к Циммервальдской и Киентальской конференциям, как и в работе самих конференций, хорошо известна. Разумеется, он принадлежал к крайне левому крылу участников Циммервальда. В Киентале, опираясь на Радека, он предложил саботировать войну и поднять вооруженное восстание, дабы покончить с межнациональными распрями и начать распрю между классами.

В марте 1917 года он выехал в Россию через Германию в знаменитом «пломбированном вагоне», который, впрочем, таким отнюдь не являлся. Это-то сенсационное путешествие и привлекло к нему внимание всего мира. До тех пор, несмотря на его известность в революционных кругах, большая часть русской интеллигенции имела о нем смутное представление, народу его имя вообще ничего не говорило. Слово «большевик», с тех пор получившее такое распространение, было тогда мало кому понятно. Но в те дни воодушевления, исполненного свободолюбия и патриотизма, многие изумленно задавались вопросом: отчего это путь русского человека, желающего вернуться на родину, пролегает через Германию, отчего революционер обращается за помощью к агентам кайзеровского канцлера и главное — отчего это канцлер так старается угодить революционеру? Парадоксально, но можно сказать, что своей начальной известностью Ленин обязан именно «пломбированному вагону».

Его первая речь в начале апреля 1917 года на Совете рабочих и солдатских депутатов Петрограда, где была изложена большевистская программа, с тех пор реализованная, не имела никакого успеха, и среди тех, кто особенно нападал на него, фигурировало несколько его будущих сотрудников. Г-н Стеклов, ныне руководящий официальным правительственным органом Советов — «Известиями», например, заявил, что программа Ленина — анархистская, а сам он — кандидат на вакантный трон Бакунина (известно, что в социал-демократической среде нет большего оскорбления, чем обозвать кого-нибудь анархистом и сравнить его с Бакуниным). Политическая ситуация, в которой оказался Ленин, представляла собой splendid isolation[19]. Троцкий еще не вернулся из Америки. Да, впрочем, он еще и не примкнул в большевизму[20]. В годы войны он прилежно сотрудничал (как и г-н Луначарский, народный комиссар по делам просвещения) под псевдонимом Антид Ото в газетах «Киевская мысль» и «День», которые не отличались ни пораженческой, ни пацифистской во что бы то ни стало

направленностью, не были изданиями циммервальдцев и позже были закрыты правительством как контрреволюционные. Единственным верным соратником Ленина в те годы был Зиновьев, их имена долгое время были неразделимы, только со временем на смену сочетанию Ленин — Зиновьев пришло сочетание Ленин — Троцкий. Судьба несправедливо слегка задвинула в тень симпатичного председателя Петроградского Совета.

За рубежом большевизм был, разумеется, известен еще менее. Карл Либкнехт в Германии, Александр Блан во Франции еще и близко не подошли к ленинской программе. Что до Шапиро, Коричнера и прочих Бела Кунов, они никак себя не проявляли и никого не интересовали.

Что случилось дальше — всем известно. Со дня возвращения Ленина в Россию (4 апреля 1917 года) каждый его шаг сопровождается рекламой мирового масштаба. История его действий с 1917 по 1920 год еще не может быть написана. Ее этапы — мы говорим пока что лишь об этапах — таковы: бешеная кампания по дезорганизации страны, проводимая с балкона дворца Кшесинской и в «Правде»; провалившееся восстание в июле 1917 года; бегство в Финляндию; возвращение из Финляндии в октябре и триумфальное вступление в Смольный институт во главе правительства, состоящего из народных комиссаров; перемирие с Германией; Брест-Литовский мир; коммунистические эксперименты; неслыханный террор; Третий Интернационал; «диктатура пролетариата»; хаос, Гражданская война и полное крушение Российской империи.

Эти подвиги увенчаны славой мирового масштаба. Когда в 1918 году большевики пригласили на парад в честь своего съезда экзотические делегации, специально прибывшие из Индии, Афганистана, Занзибара и с Северного полюса, чтобы приветствовать великую Советскую республику и папу-Ленина от имени коммунистических организаций своих стран, то это послужило пищей для юмористов и вызвало радость в скептически настроенных сообществах. Однако вот уже в Италии, Норвегии социалисты решительно встают под знамена Третьего Интернационала; вот уже издательский дом Аванти торгует большой медалью с изображением Ленина «в профиль и в фас» с надписью ex oriente lux[21][22]; вот уже газеты пишут о всеобщей забастовке, намечаемой в Италии ко дню рождения русского диктатора[23]; вот уже итальянские рабочие начинают называть его именем новорожденных; вот и в Германии идеалистически настроенный парламентарий, в течение двух десятилетий до того прозывавшийся социал-демократом, покидает партию,

прославленную его отцом, и переходит в ряды коммунистов оттого, что Ленину по душе это слово[24]. А во Франции еще один парламентарий-идеалист серьезно рассуждает о «свете русской революции»[25]; официальный орган социалистической партии Франции восторгается «гением», «мощью философской мысли», «зоркостью взгляда», «поразительным революционным складом ума великого государственного деятеля»[26]. А один английский писатель, говоря о той исторической странице, которую заполняют в данный момент большевики, осмеливается утверждать, что для будущих поколений она будет «столь же белой, как снега России...»[27] Неужто и впрямь белыми, г-н Артур Рэнсом?

Глава II ЛЕНИНСКИЕ СОЧИНЕНИЯ 1894—1904 ГОДОВ

Ленин начал свою литературную карьеру небольшой пропагандистской брошюрой, обращенной к питерским рабочим и озаглавленной: «О налогах»[28]. Одного этого довольно, чтобы понять: он не писатель, хотя и написал немало. Он всегда был политическим пропагандистом, о чем бы ни писал — о налогах фабричных рабочих или о философии Беркли. Он подает оба эти сюжета в абсолютно одинаковой форме, что, впрочем, совершенно в порядке вещей, ведь Беркли интересен ему лишь с той же точки зрения, что и налоги. Однако это далеко не слабая сторона этой любопытной личности: Ленин вероятно не претендует на литературное бессмертие, а ведь такие «цельные» натуры довольно редки за пределами сумасшедших домов, подобная цельность даже сообщает им определенную силу, как свидетельствует о том его пример.

Литературная и политическая деятельность Ленина сводится к трем различным направлениям: 1) борьба с народниками; 2) борьба с легальным марксизмом умеренных и немецким ревизионизмом; 3) внутрипартийная борьба русских социал-демократов.

Роль Ленина в борьбе с народниками была довольно велика, что бы ни писал там г-н Зиновьев, в терминах нового времени описывающий впечатление, произведенное некогда (в 1894 году) статьями Ленина (вышедшими из печати под псевдонимом Тулин): «Кто-то властный и сильный потревожил мелкобуржуазное болото. Начинается движение воды. На горизонте показалась новая фигура. Кто-то будирует. Повеяло чем-то новым, свежим»[29].

Все это говорится, разумеется, заради красного словца. На самом деле статьи Ленина остались почти незамеченными.

Борьба марксистов и народников ограничивалась областями политэкономии и философии. А ведь Ленин еще не разбирался тогда в политэкономии; что до философии, в ней он и до сих пор профан. Струве превосходил его эрудицией, Плеханов— литературным талантом (а это немало), и именно они задавали тон в полемике с народниками. Самая важная статья Ленина «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве»[30] (1895), в том, что касается учения народников, весьма малосодержательна. Гораздо интереснее та ее часть, где речь заходит о самом Струве. Заметим, что Струве занимает главное место в литературном творчестве Ленина. Если можно так выразиться, это пунктик большевистского вождя: скоро уже двадцать пять лет, как он не перестает клеймить всяческие преступления Струве, чемпиона в области марксистской теории в России (г-н Троцкий, со своей стороны, также уделил ему внимание: посвятил специальный памфлет «Господин Петр Струве в политике»).

Осенью 1894 года Ленин прочел в Петербурге перед небольшим кружком статью, направленную против Струве (который при этом присутствовал) и озаглавленную: «Отражения марксизма в буржуазной литературе». Эта статья уже содержала некоторые большевистские положения. Так, Ленин подчеркивал, что во всех трудах Маркса переход от нынешнего строя к новому предстает в виде внезапного падения, обрушения капитализма. Вслед за Зомбартом он повторял одну очень специфическую мысль: во всем марксизме нет и следа этики. Он был против утверждения Струве, согласно которому Маркс «якобы зашел слишком далеко в отрицании государства». Это было, как заявил позднее сам Ленин, предупреждением Струве со стороны революционного социал-демократа. И напротив, он был согласен со Струве в том, что касалось необходимости, неизбежности и прогрессивного характера русского капитализма. Это было сказано в пику народникам с их утопиями. Однако вот что интересно — именно марксист Ленин пытается сегодня заставить Россию перескочить через капиталистическую стадию развития, в которую она едва вошла, чтобы перенести ее в счастливую коммунистическую эру. Двадцать пять лет минуло с тех пор. Однако верить в то, что 150-миллионная страна, 80% которой составляют крестьяне, в которой еще не создана развитая промышленность, несмотря на огромные запасы природных ископаемых, способна пройти капиталистическую стадию развития за 25—30 лет и созреть для коммунизма — означает выставить себя худшим утопистом, нежели народники.

Более поздняя статья, посвященная полемике со Струве,

являвшимся в те годы одним из вождей умеренного русского либерализма, озаглавлена «Гонители земства и Аннибалы либерализма». Наверное, это лучшая из работ на политические темы, написанных главным большевиком. Ленин упрекал Струве в том, что тот не продвигает дальше свою демократическую программу. Он цитирует следующие слова своего антагониста, либерала, обращенные к правящим кругам царской России: «С глубокой скорбью мы предвидим те ужасные жертвы и людьми и культурными силами, которых будет стоить эта безумная агрессивно консервативная политика, не имеющая ни политического смысла, ни тени нравственного оправдания». К этим словам, полностью оправдавшимся в наши дни, Ленин добавляет: «Какую бездонную пропасть доктринерства и елейности приоткрывает такой конец рассуждения о революционном взрыве. У автора нет ни капельки понимания того, какое бы это имело гигантское историческое значение, если бы народ в России хоть раз хорошенько проучил правительство»[31]. Вот это по-ленински. Возможно, еще и сегодня он все еще проникнут желанием преподать *добрый урок капиталистическому режиму*. К сожалению, в этих опытах социальной педагогики никогда не знаешь, кто в конечном итоге был исправлен наилучшим образом.

Впрочем, речь тогда не шла о том, чтобы нападать на капиталистический строй. Ленин, наоборот, с большой убежденностью вел речь о соглашении с либерализмом. «Сумеют либералы сорганизоваться в нелегальную партию, — тем лучше, мы будем приветствовать рост политического самосознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга. Не сумеют — мы и в этом (более вероятном) случае не махнем рукой на либералов, мы постараемся укрепить связи с отдельными личностями, познакомить их с нашим движением, поддержать их посредством разоблачения в рабочей прессе всех и всяких гадостей правительства и проделок местных властей, привлечь их к поддержке революционеров. Обмен услуг подобного рода между либералами и социал-демократами происходит и теперь, он должен быть только расширен и закреплен...[32] Мы освободились от иллюзий анархизма и народнического социализма, от пренебрежения к политике, от веры в самобытное развитие России, от убеждения, что народ готов к революции, от теории захвата власти и единоборства с самодержавием геройской интеллигенции»[33].

Это написано в 1901 году. Каким бы ни были политические изменения, произошедшие с тех пор, без удивления читать подобное у *Ленина* невозможно. «Обмен услуг между либералами и социал-демократами...» Многие либералы в 1819—1919 годах заплатили своими жизнями или свободой за то внимание, которой было им оказано Лениным и его сотрудниками из Чрезвычайной Комиссии. Другие, как Струве, были вынуждены бежать, чтобы не попасть в лапы большевистских палачей[34]. Еще больший интерес вызывает лозунг о вреде иллюзий, будто народ готов к революции.

Ленин сделал себе имя в социал-демократических кругах брошюрой «Проблемы русских социал-демократов», появившейся в 1897 году за границей, которой предпослано льстивое предисловие г-на Аксельрода, одного из основателей партии, ныне — ожесточенного противника народных комиссаров и их вождя[35]. Эта брошюра выдержала три издания. Но причины ее успеха нам совершенно непонятны. Из рук вон плохо написанная (как и большинство работ Ленина), она содержит лишь банальности.

Работы Ленина, в которых речь идет о политической экономии, — из разряда того, что было им сделано доброкачественно. Поскольку у него отсутствует какой-либо писательский дар, его политические памфлеты не поднимаются выше посредственного уровня. Но он бесспорно обладает некоторой эрудицией в области экономических познаний: это вообще то, что ему известно лучше всего остального. Основные его работы в этой области: «Развитие капитализма в России», в которой показано, что Россия уже вошла в капиталистическую фазу развития, и серия статей по аграрному вопросу.

Что и говорить, Ленин всегда был одним из антиревизионистов самого ярого толка.

Хотя взгляды его на аграрный вопрос в России часто менялись. В брошюре «Нужды деревни»[36] он заявил о себе как о сторонникe совершенной свободы, которую должно предоставлять крестьянам относительно их наделов, позволяя им делать с ними все, вплоть до продажи, и сумел с неоспоримым демагогическим искусством выставить перед сельскими тружениками своих противников — социал-революционеров, сторонников национализации земельной собственности — в качестве деспотических наставников, не желающих дать крестьянам право свободно распоряжаться своим имуществом. Чуть погодя он резко отошел от этой теории (позволить) и принял на вооружение идею национализации земли. Не стоило ему труда написать и еще одну брошюру, в которой утверждается

противоположное тому, что составляло суть его мысли несколькими годами ранее. Так, с 1905 года о том, чтобы наделить крестьянина правом продажи своей земельной доли, нет и речи: он требует поддержать «стремление революционного крестьянства к отмене частной собственности на землю»[37].

В 1898 году состоялся Первый съезд социал-демократов, на котором была основана русская социал-демократическая рабочая партия. Обозначилось направление, выражавшееся в преувеличении значения экономической борьбы пролетариата. Это направление получило название экономизма, и Ленин тут же принялся бороться с ним. В начале 1902 года он опубликовал за границей свою знаменитую брошюру «Что делать?», которая вызвала острую полемику и до 1917 года оставалась самым известным из всего, что он написал. Автор развивает в этой работе мысль о создании института профессиональных революционеров, которые делали бы революцию и боролись с политической полицией профессионально.

Он дал довольно-таки точное и красочное полотно революционного движения 90-х годов: «Основной наш грех в организационном отношении — что мы своим кустарничеством уронили престиж революционера на Руси. Дряблый и шаткий в вопросах теоретических, с узким кругозором, ссылающийся на стихийность массы в оправдание своей вялости, более похожий на секретаря тред-юниона, чем на народного трибуна, не умеющий выдвинуть широкого и смелого плана, который бы внушил уважение и противникам, неопытный и неловкий в своем профессиональном искусстве, — борьбе с политической полицией, — помилуйте! это — не революционер, а какой-то жалкий кустарь.

Пусть не обижается на меня за это резкое слово ни один практик, ибо, поскольку речь идет о неподготовленности, я отношу его прежде всего к самому себе. Я работал в кружке, который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие задачи, — и всем нам, членам этого кружка, приходилось мучительно, до боли страдать от сознания того, что мы оказываемся кустарями в такой исторический момент, когда можно было бы, видоизменяя известное изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию! И чем чаще мне с тех пор приходилось вспоминать о том жгучем чувстве стыда, которое я тогда испытывал, тем больше у меня накоплялось горечи против тех лжесоциал-демократов, которые своей проповедью „позорят революционера сан“, которые не понимают того, что наша задача — не защищать принижение революционера до кустаря, а *поднимать* кустарей до

революционеров»[38].

Можно с полной уверенностью утверждать, что Ленин сумел превратить себя в успешную модель профессионального демагога. Кто воочию видел плоды той агитации, которую он развернул в 1917 году, вещая с балкона особняка Кшесинской и на страницах «Правды», кто видел, как под действием этой агитации гибла русская армия и деморализовалось население, воздаст должное великому демагогическому таланту и профессионализму Ленина.

Однако стоило Октябрьской революции привести большевиков к власти, Ленин, напротив, открыл *эру любительского социализма*. В его лагере было слишком мало профессиональных революционеров, а армия адептов состояла из небольшого числа искренних и невежественных коммунистов, поглощенных массой авантюристов всех мастей, ловцов рыбки в мутной воде и правонарушителей. Любители Социализма и профессиональные злодеи составили армию большевистских преторианцев.

На Втором съезде социал-демократической партии (август 1903 года) обозначился раскол между меньшевиками и большевиками. Этот раскол прежде всего относился к организационным вопросам. Ныне разделение на большевиков и меньшевиков имеет иной смысл. Многие из тех, кто был тогда противниками Ленина, — сегодня среди его ближайших сподвижников. Сам Троцкий из их числа. С другой стороны, Плеханов, не вставший в 1903 году на сторону большевиков, поддержал тогда Ленина по многим вопросам, но позднее стал его ярым противником. Когда читаешь отчет о Втором съезде и политические статьи того времени, трудно уловить связь между тогдашними дискуссиями и сегодняшними. Однако эта связь существует, но наверняка не представляет интереса для французского читателя. Разумеется, дискуссии отличались явно сектантским или талмудическим характером. Так, два заседания съезда были посвящены дебатам по первому параграфу статуса Партии. Ленин желал такой формулировки: Членом Партии считается тот, кто признает ее программу и поддерживает Партию как материально, так и личным участием в одной из партийных ячеек. Мартов, лидер меньшевиков, требовал иной формулировки: Членом партии социал-демократической рабочей партии считается тот, кто признает ее программу, помогает ей материально и оказывает ей регулярную поддержку под руководством одной из ее ячеек. Это-то и обсуждалось два дня, а потом еще два часа письменно излагалось Лениным, Плехановым, Мартовым, Аксельродом, Мартыновым, Акимовым, Либером, Поповым, Брукером и др. Подобное уже было в истории — на

вселенских соборах в Константинополе обсуждалось: *подобен* ли Сын Отцу (ὁμοιούσιος) или *идентичен* (ὁμοούσιος)? Следует ли Бога-отца называть *Создателем* или *Создателем неба и земли*? И ежели сегодня какой-нибудь социал-демократ доказывает, что разница между формулировками Ленина и Мартова имела огромное практическое значение, Григорий и Нектарий так же расценивали свои дискуссии на соборе в Константинополе.

В конце концов, дебаты на Втором съезде сводились, на взгляд Ленина[39], к борьбе между революционными социал-демократами, получившими большинство, — чьим лидером он был — и оппортунистическими элементами, «наименее последовательными с точки зрения теории и принципов». Мартов и многие другие, напротив, усматривали в этих дискуссиях «бунт против ленинизма».

Глава III МЫСЛИ И ДЕЙСТВИЯ ЛЕНИНА ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1905—1906)

В мае 1905 года в Лондоне состоялся Третий съезд социал-демократической партии, или — если точнее, — Первый съезд большевиков, поскольку участие в нем принимали лишь они. В то же время в Женеве на свою конференцию собрались меньшевики. Раскол между двумя крыльями партии был сильнее, чем когда-либо, в полном соответствии с задачами, поставленными первой русской революцией. Ленин, чье влияние взяло верх на Лондонском съезде, посвятил этому расколу работу, представляющую большой интерес, если начать сравнивать ее с тем, что он говорит и делает в данный момент[40].

Основные постулаты Лондонского съезда, то есть Ленина, сводились к следующему:

«...как непосредственные интересы пролетариата, так и интересы его борьбы за конечные цели социализма требуют возможно более полной политической свободы, а следовательно, замены самодержавной формы правления демократической республикой.

...осуществление демократической республики в России возможно лишь в результате победоносного народного восстания, органом которого явится временное революционное правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации и созвать, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов, учредительное собрание, действительно выражающее волю народа»[41].

Вот что диктовал в 1905 году этот человек, тринадцатью

годами позже распустивший Учредительное собрание, созванное на основе всеобщего избирательного права, прямого и равного, на основе тайного голосования, и установивший в России «полную свободу предвыборной агитации»! Какова она теперь, нам хорошо известно!

Однако в этой ленинской брошюре можно отыскать кое-что и сегодня представляющееся невероятным.

«Марксисты безусловно убеждены в буржуазном характере русской революции. Что это значит? Это значит, что те демократические преобразования в политическом строе и те социально-экономические преобразования, которые стали для России необходимостью, — сами по себе не только не означают подрыва капитализма, подрыва господства буржуазии, а, наоборот, они впервые очистят почву настоящим образом для широкого и быстрого, европейского, а не азиатского, развития капитализма, они впервые сделают возможным господство буржуазии как класса»[42].

«...реакционна мысль искать спасения рабочему классу в чем бы то ни было, кроме дальнейшего развития капитализма. В таких странах, как Россия, рабочий класс страдает не столько от капитализма, сколько от недостатка развития капитализма. Рабочий класс безусловно заинтересован поэтому в самом широком, самом свободном, самом быстром развитии капитализма <...>. Поэтому буржуазная революция в высшей степени выгодна пролетариату. Буржуазная революция безусловно необходима в интересах пролетариата»[43].

Ленин делал из этого практические выводы:

«...ставя задачей временного революционного правительства осуществление программы-минимум, резолюция тем самым устраняет нелепые полуанархические мысли о немедленном осуществлении программы-максимум, о завоевании власти для социалистического переворота. Степень экономического развития России (условие объективное) и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата (условие субъективное, неразрывно связанное с объективным) делают невозможным немедленное полное освобождение рабочего класса. Только самые невежественные люди могут игнорировать буржуазный характер происходящего демократического переворота; — только самые наивные оптимисты могут забывать о том, как еще мало знает масса рабочих о целях социализма и способах его осуществления»[44].

Следовало бы предположить, что экономическое развитие России (объективное условие) и социалистическая культура пролетарских масс (субъективное условие, неразрывно связанное

с предыдущим) весьма далеко шагнули вперед по сравнению с 1905 годом. Но если о «субъективном условии» судить нелегко, поскольку подобное суждение может быть расценено как «субъективизм», у нас есть точные данные об «объективном условии». Война и революция страшно затормозили экономическое развитие России[45]: русская промышленность частично разрушена, частично парализована. В этих условиях сравнение того, что заявлял Ленин в 1905—1906 годах, с тем, что он считал в 1917—1919 годах, — весьма показательно.

Не стоит, однако, думать, что ленинская программа 1905 года была сколько-нибудь дельной. Уже тогда он придерживался идеи «революционной и демократической диктатуры пролетариев и крестьян». Как эта идея могла согласовываться с идеей Учредительного собрания и политическими свободами— это было и остается его тайной, которую до сих пор никто так и не разгадал, кроме, конечно, большевиков. Но это так:

«Но это будет, разумеется, не социалистическая, а демократическая диктатура. Она не сможет затронуть (без целого ряда промежуточных ступеней революционного развития) основ капитализма. Она сможет, в лучшем случае, внести коренное перераспределение земельной собственности в пользу крестьянства, провести последовательный и полный демократизм вплоть до республики[46], вырвать с корнем все азиатские, кабальные черты не только из деревенского, но и фабричного быта, положить начало серьезному улучшению положения рабочих и повышению их жизненного уровня, наконец, last but not least[47] перенести революционный пожар в Европу. Такая победа нисколько еще не сделает из нашей буржуазной революции революцию социалистическую...»[48]

Следовательно, цель, которую Ленин наметил в 1905 году: «революционная и демократическая революция», помимо last but not least, была достигнута в 1917 году Временным правительством. Оно ввело восьмичасовой рабочий день и правительственный контроль за промышленностью, что даже превосходило ту скромную задачу, которую ставил Ленин: «положить начало серьезному улучшению положения рабочих». Оно покончило со всеми азиатскими и деспотическими сторонами русской жизни (впрочем, ненадолго, поскольку большевики заменили их другими, которых не знал ни старый режим, ни Азия). Фундаментальная аграрная реформа[49] и самая что ни на есть демократическая конституция были до Октября приняты всем обществом, и Учредительное собрание проголосовало за них безусловно и без всякой диктатуры. Следовательно, программа Временного правительства, в пух и

прах раскритикованная Лениным, ушла дальше того, что он предписывал в 1905 году «революционной и демократической диктатуре».

Правда, «в лучшем случае» этой диктатуре предстояло перенести революционный пожар в Европу. И тут перед нами пример умственной эквилибристики вождя: «...мы не должны бояться... полной победы социал-демократии в демократической революции, т.е. революционной демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, ибо такая победа даст нам возможность[50] поднять Европу, а европейский социалистический пролетариат, сбросив с себя иго буржуазии, в свою очередь поможет нам совершить социалистический переворот»[51]. Следовательно, Ленин моментально забывает о том, о чем сам же говорит несколькими страницами выше, а именно — о необходимости широкого и свободного развития капитализма в России, об объективных и субъективных условиях и т.д. Идея немедленной социалистической революции, которая была на тот момент наполовину анархистской и «реакционной» сверх меры, вдруг становится осуществимой при условии, что европейский пролетариат протянет руку помощи России. Налицо вся мессианская вера большевизма, и ныне нам дано лицезреть ее: в России плохо идут дела? Карл Либкнехт нам поможет. Карла Либкнехта уже нет? Есть Бела Кун.

Как хороший марксист Ленин считал, что рабочие и крестьяне могут действовать заодно, лишь когда речь идет о борьбе с реакционным режимом. Но, — писал он, — «наступит время — кончится борьба с русским самодержавием — минет для России эпоха демократической революции; тогда смешно будет и говорить о „единстве воли" пролетариата и крестьянства, о демократической диктатуре и т. д. Тогда мы подумаем непосредственно о социалистической диктатуре и подробнее поговорим о ней»[52].

Ныне борьба с абсолютизмом закончена и, несмотря на это, кажется, пролетарии и крестьяне все же заодно: народные комиссары, ненавидимые всем крестьянством и большинством рабочих, действуют от лица *рабоче-крестьянского правительства*. Мудрецы из числа большевистских теоретиков сперва придумали депутатов от батраков, затем комитеты бедноты, позднее середняков; теперь же говорят просто о крестьянстве. А *единство воли*, о котором в 1905 году было «смешно говорить», все еще существует. И само собой разумеется, это единство воплощается в личности Ленина. Таковы чудеса «научного социализма».

В той же ленинской работе (написанной в 1905 году) затрагивается один вопрос, представляющий особый интерес —

это вопрос террора.

«Удастся решительная победа революции, —тогда мы разделаемся с самодержавием по-якобински, или, если хотите, по-плебейски. „Весь французский терроризм, — писал Маркс в знаменитой «Новой Рейнской Газете» в 1848 г., — был не чем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством" (см. Marx, Nachlass, изд. Меринга, том III, с. 211). Думали ли когда-нибудь о значении этих слов Маркса те люди, которые пугают социал-демократических русских рабочих пугалом „якобинизма" в эпоху демократической революции?

Якобинцы современной социал-демократии — большевики <...> хотят, чтобы народ, т.е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией „по-плебейски", беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком»[53].

Становится понятным, чего стоят сегодняшние утверждения большевиков о том, что террор был ответом либо на интервенцию объединивших усилия империалистов, либо на действия социал-революционеров, либо на чехословацкое наступление[54]. Большевистский террор, по крайней мере, в той или иной степени является реализацией некоего проекта, задуманного Лениным пятнадцатью годами раньше. Работа Чрезвычайной Комиссии, расстрелы, расправы с заложниками, убийство царевича и дочерей Николая II, кровавая бойня, в которой погибли в неисчислимых количествах офицеры и члены их семей, дворяне, инакомыслящие, жестокости и пытки в тюрьмах — все это составная часть программы сведения счетов «на якобинский или на плебейский лад», которую Ленин наметил еще в 1905 году. Эта предумышленность еще более цинична оттого, что прикрывается гуманными целями и протестом против азиатчины.

И вот что любопытно и одновременно характерно для старорежимных времен: книга, из которой я почерпнул эту цитату, свободно вышла из печати в Петербурге в 1908 году при Столыпине, память которого чтут все русские реакционеры. Для любого свободного государства этот факт был бы явлением вполне естественным. Но в столыпинской России преследовали и судили романиста Мережковского за то, что он без должного почтения отозвался в одном из своих романов об императоре Александре I[55] (умершем в 1825 году), судили знаменитого писателя Короленко за то, что он опубликовал в своем журнале («Русское богатство») посмертно «Легенду о Федоре Кузьмиче» Льва Толстого, в которой Екатерина II представлена в не очень

лестном виде. Преследовали, изгоняли, бросали в темницы опасных людей вроде толстовцев. Сжигались книги самого Толстого. Вот тут-то и задумаешься: что означает подобное снисхождение[56] старого режима к сочинению, содержащему прямой призыв к вооруженному восстанию и террору? Только ли глупость чистейшей воды?

Вполне возможно. Глупость всегда была одной из отличительных свойств старого режима России. Однако, как знать, нет ли тут чего-нибудь еще? Нам известно, помимо уже упомянутого факта, что полицейским департаментом был разрешен выпуск в Петербурге большевистской газеты. Правда, возглавлял газету агент-провокатор; но от этого статьи, которые он пропускал в печать, не были менее большевистскими (напротив, зачастую отличались ультрабольшевистской направленностью). В то же время умеренная печать подвергалась преследованию, облагалась огромными налогами, а кое-кто из издателей вознаграждался и тюремным заключением.

Вполне возможно, что полиция возымела желание повторить опыт вооруженного восстания вроде того, что имело место в Москве в 1905 году — тогда эта затея удалась на славу. Восстание, организованное большевиками, согласно директивам Лондонского съезда (то есть Ленина), позволило царскому правительству в несколько дней решительно расправиться со всеми революционно настроенными силами. Как знать, не подготовила ли полиция новой акции и не благоприятствовала ли с этой целью большевистской пропаганде.

Плеханов и многие другие усматривали в ленинской тактике 1905 года преступление против революции. Но, повторим, обе стороны шли ва-банк. Ленин обладает качеством, которое считается у стратегов ценным: он никогда не преувеличивает силу противника. «Умеренность выигрывает столько же раз, сколько проигрывает; для нее в жизни существуют равные шансы», — говорил Наполеон, а уж он-то знал толк в таких вещах. И полиция и Ленин — каждый являл собой образчик умеренности: вооруженное восстание могло погубить революцию, как уже было в 1905 году, но могло погубить и монархию, что и произошло в 1917 году.

Глава IV МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛЕНИНА

После провала первой русской революции русский марксизм переживал кризис. Многие социал-демократы, большевики и небольшевики, ощутили потребность в иной философской базе для своих взглядов, нежели та, которую обеспечивал им

материализм, исповедуемый Энгельсом, Мерингом, Лафаргом и Плехановым. Из-под пера социал-демократов, таких как Луначарский, Базаров, Богданов, Юшкевич и другие, вышел ряд философских книг и статей.

«В эти годы началось литературное мародерство, невиданный литературный распад. Под флагом марксизма хотели протащить в рабочую среду гнилые идеи буржуазной философии»[57].

Это явление вскоре привлекло к себе разгневанное внимание Ленина, усмотревшего в нем опасность. До тех пор он еще не писал на философские темы и вообще не предполагал, что для хорошего социал-демократа мог-

ли существовать философские проблемы, не решенные Марксом и Энгельсом. Бесстрашие дезертиров из материалистического лагеря привело его в бешенство. Надлежало образумить тех социал-демократов, которые подняли против диалектического материализма Маркса и Энгельса «бунт на коленях».

И вот Ленин заточил себя в Национальной библиотеке в Париже и принялся штудировать труды буржуазных философов.

Я слышал от одного из его друзей, что он изучил всю буржуазную философию за шесть недель. Однако если верить г-ну Зиновьеву, Ленин отдал этому два года жизни. Как бы там ни было, в 1908 году на свет появился толстенный том[58], который его биограф квалифицирует как «серьезный труд по философии», утверждая, что эта книга «закладывала основы коммунизма»[59].

Сей труд и впрямь чрезвычайно любопытен, но, осмелюсь сказать, с психологической точки зрения.

Сама манера трактовать философские проблемы совершенно поразительна. Подход к трудам наиболее абстрактных из философов — самый что ни на есть большевистский: так легче внести сумятицу в ряды противника. Бедняги философы были бы весьма озадачены, узнав, зачем понадобились Ленину их доктрины.

Ленин цитирует довольно-таки безобидную статью г-на Блея: «Метафизика в политической экономии» (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie[60]) и сопровождает свою цитату следующей ремаркой: «Читатель, вероятно, негодует на нас за то, что мы так долго цитируем эту невероятно пошлую галиматью, это квазиученое шутовство в костюме терминологии Авенариуса. Но wer den Feind will verstehn, muss im Feindes Lande gehn: кто желает знать врага, тот должен побывать во вражеской стране. А философский журнал Р. Авенариуса — настоящая вражеская страна для марксистов. И мы приглашаем читателя преодолеть на минуту законное отвращение к клоунам буржуазной науки и

проанализировать аргументацию ученика и сотрудника Авенариуса»[61].

Очевидно, что Ленин интересовался философией, как интересуются недругом. Он изучил, то бишь перелистал, кучу философских трудов, задавшись при этом той же целью, что и немецкие офицеры, изучающие русский язык.

Стиль, отличающий приведенную цитату, характерен для ленинской книги в целом. Наугад выхватываю еще ряд цитат.

«В философии— поцелуй Вильгельма Шуппе ничуть не лучше, чем в политике поцелуй Петра Струве или г. Меньшикова[62]»[63]. «Но Мах здесь так же приближается к марксизму, как Бисмарк приближается к рабочему движению, или епископ Евлогий[64] к демократизму»[65]. «Луначарский говорит[66]: „...дивная страница религиозной экономики. Скажу так, рискуя вызвать улыбку нерелигиозного читателя". Каковы бы ни были ваши благие намерения, товарищ Луначарский, ваши заигрывания с религией вызывают не улыбку, а отвращение»[67]. «И вот эдакие-то немецкие Меньшиковы, обскуранты ничуть не менее высокой пробы, чем Ренувье, живут в прочном конкубинате с эмпириокритиками»[68]. «Что автор такого рассуждения может быть крупным физиком, это допустимо. Но совершенно бесспорно, что брать его всерьез, как философа, могут только Ворошиловы—Юшкевичи... Ошибаетесь, г. Пуанкаре: ваши произведения доказывают, что есть люди, которые могут мыслить только бессмыслицу»[69]. «Ограничусь только изложением очень важной для моей темы статьи нашего известного философского черносотенца г. Лопатина <...>. *Истинно русский* идеалист г. Лопатин[70] относится к современным европейским идеалистам примерно так же, как „Союз русского народа" к западным реакционным партиям»[71]. «Герман Коген <...> доходит до того, что проповедует введение высшей математики в школы— для ради внедрения в гимназистов духа идеализма, вытесняемого нашей материалистической эпохой <...>. Конечно, это — вздорное мечтание реакционера <...>. Но в высшей степени характерно <...> какими утонченными средствами пытаются представители образованной буржуазии искусственно сохранить или отыскать местечко для фидеизма, который порождается в низах народных масс невежеством, забитостью и нелепой дикостью капиталистических противоречий»[72]. «Русский физик, г. Хвольсон[73], отправился в Германию, чтобы издать там подлую *черносотенную* брошюрку против Геккеля...»[74].

Чувство, которое испытываешь, читая подобное в «философском труде», довольно сложно определить. В меня это вселяет прежде всего ужас при мысли о том, что этот человек,

считающий себя апостолом будущего, а на самом деле обладающий психологией средневекового монаха, сегодня безраздельно властвует над сотнями миллионами людей.

Было бы ребячеством критиковать «философскую систему» Ленина. Впрочем, он не претендует ни на какую оригинальность в данной области и постоянно подчеркивает, что полностью разделяет учение диалектического материализма[75]. Библия этого учения — это даже не труды Маркса, а «Анти-Дюринг» Энгельса (Herrn Eugen Dührings Umwälzung in der Wissenschaft), для Ленина являющийся первым и последним словом человеческой мудрости. Это ad majorem gloriam большевизированной разновидности диалектического материализма. Им изобличены злодеяния таких философов, как Юм, Кант, Беркли, Авенариус, Ренувье, раскритикованы следующие физики: «немец Мах, француз Анри Пуанкаре, бельгиец Дюгейм[76]», а также предатели и дезертиры русского материализма.

Общий смысл рассуждений примерно таков:

Беркли, Юм, Кант, Мах, Пуанкаре и прочие, являясь прислужниками буржуазии, сочинили учения, лишенные общечеловеческого содержания и направленные лишь на дальнейшее поддержание рабского состояния рабочих. Ленин с воодушевлением цитирует одну тираду, с которой против этих философов выступил «ученик Энгельса, Лафарг» и которая его обессмертила:

«Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он питается свиным мясом; что хозяин — вор и что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. — Ничего подобного, — говорит буржуазный софист, все равно, зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом, — мнение рабочего на этот счет есть его личное, т.е. субъективное мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин — его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать вещи в себе...[77]»[78].

Впрочем, есть софисты и софисты. Ленин все же слегка снисходителен к Канту, который для него нечто промежуточное между идеалистами и материалистами. «Когда Кант допускает, что нашим представлениям соответствует нечто вне нас, какая-то вещь в себе, — то тут Кант материалист. Когда он объявляет эту вещь в себе непознаваемой, трансцендентной, потусторонней, — Кант выступает как идеалист»[79]. Кант нечто вроде буржуазного центра в духе кадетской партии (это сравнение, разумеется, принадлежит Ленину): «махисты критикуют Канта справа, а мы — слева»[80]. А вот Мах гораздо более зловредный софист.

«Философия естествоиспытателя Маха относится к естествознанию, как поцелуй[81] христианина Иуды относился к Христу»[82]. Не щадит Ленин и своих товарищей по партии, стоит им хоть сколько-нибудь доброжелательно отнестись к фидеистским учениям[83]: так, он делает последнее предупреждение г-ну Луначарскому: «Позорные вещи, до которых опустился Луначарский <…> будь это прямой и обычный, т.е. непосредственно фидеистический смысл, мы не стали бы и разговаривать с автором, ибо не нашлось бы, наверное, ни одного марксиста, для которого подобные заявления не приравнивали бы всецело Анатолия Луначарского к Петру Струве»[84] (разумеется, Ленин не мог упустить случая лягнуть Струве).

Это краткое изложение ленинской философии не было бы полным, если бы я не привел несколько перлов из другой философской книги, появившейся почти одновременно с книгой Ленина и написанной в том же духе одним из его товарищей по большевистской партии — г-ном Шулятиковым[85]. Его опус представляет еще больший интерес, чем книга самого Ленина; написан он в более спокойной и академической манере. Ленин ругается, исходит пеной, громит буржуазных философов. В книге же Шулятикова ни одного грубого слова: он спокойно и методично развенчивает великих мыслителей и с научной безмятежностью ставит их к стенке. Ленин сосредоточился прежде всего на современной философии, тогда как Шулятиков в своем экспозе поднимается до Декарта (и впрямь, чего церемониться с замшелым реакционером?). С другой стороны, Шулятиков, если это хоть в какой-то степени возможно, более последователен, чем Ленин, что повышает интерес к его патологическому труду. Но идеи и методы обоих примерно одинаковы.

«Предполагается, — начинает свой труд Шулятиков, — что философия — вещь очень невинная. <…> Пусть та или иная философская система сложилась в лоне буржуазии: из этого не следует, что надо <…> видеть в ней оружие, выкованное против рабочего класса». «Придерживаться изложенного взгляда значит впадать в наивную, прискорбнейшую ошибку. Философия не составляет счастливого искушения: на умозрительных „высотах” буржуазия остается верна себе. Она говорит не о чем ином, как о своих ближайших, классовых выгодах и стремлениях, но говорит очень своеобразным, трудно понимаемым языком. Все без остатка философские термины и формулы, с которыми она оперирует, все эти „понятия”, „идеи”, „воззрения”, „представления”, „чувства”, все эти „абсолюты”, „вещи в себе”, „ноумены”, „феномены”, „субстанции”, „модусы”, „атрибуты”, „субъекты”, „объекты”, все

эти „духи”, „материальные элементы”, „силы”, „энергии” служат ей для обозначения общественных классов, групп, ячеек и их взаимоотношений»[86]. Подобно тому как офицеры службы разведки кладут годы, чтобы расшифровать условные сигналы противника, Шулятиков поставил перед собой цель разгадать шифры буржуазной философии и докопаться до секретов, которыми философы, оплаченные капиталистами, на протяжении веков обманывают пролетариат. И впрямь, из его книги мы узнаем о наиболее охраняемых тайнах буржуазной философии.

Пролетариат, к примеру, может узнать, что «мир, в системе Декарта, организован по типу мануфактурного предприятия»[87] и что «Декартово понятие о человеке, в свою очередь, воспроизводит организацию мануфактурной мастерской»[88]. А также, что понятие времени у этого философа было последствием нововведения: «Описывая устроенное в XVI в. типографское предприятие Кобергеров, некто Нейдерфер считает нужным подчеркнуть следующую подробность: „В известный час они (подмастерья) должны приходить на работу и уходить с работы; ни одного из них не пускали без других в дом... но они должны были поджидать один другого перед воротами дома”. Это — сенсационное нововведение...»[89]. Со Спинозой дела обстоят еще хуже: «Спинозовское миропонимание — песнь торжествующего капитала,— капитала, все поглощающего, все централизующего»[90]. «Величественная, очаровывающая система! Такова почти всеобщая оценка спинозовского миропонимания. Наиболее далекий от всяких „мирских помыслов” человек, идеальнейший тип мыслителя, исключительно преданного чистому умозрению — такова всеобщая оценка личности Спинозы. Но... когда Спиноза умер, то, как известно, погребальную колесницу, везшую его останки, с большой помпой провожал fine fleur[91] голландской буржуазии. А если мы познакомимся поближе с кругом его знакомых и корреспондентов, то опять встретимся с fine fleur’ом — и не только голландской, но и всемирной — буржуазии. Объяснить внимание, которым последняя, в лице своих передовых представителей, удостаивала отшельника-философа, простым очарованием его системы, глубиной и последовательностью его мышления не приходится. Буржуазия чтила в Спинозе своего барда»[92]. После этого читатель не удивится, узнав, что «бог Лейбница — собственность образцово поставленного предприятия» и что «философия Лейбница — апофеоз организационного строительства мануфактуристов»[93]. Но самые заметные представители «мануфактуристской мысли» — Юм и особенно Кант. «Капитал статичен. Но поскольку эластичность

немецкого мануфактурного капитала в XVIII столетии не велика <…> идеолог немецкой буржуазии находит возможным защищать статическое представление о душе»[94]. Шулятиков также разоблачил тайное значение силлогизмов Фихте: «Это — славословие в честь всеспасающей специализации. Дифференцируйте профессии и функции…»[95]. Он также не скрывает от нас, что вся современная философия служит делу оправдания современного капитализма.

«Учение Авенариуса о принципиальной координации, учение Эрнста Маха об отношении психического к физическому, учение Вундта о представлениях — объектах — все это учения одного порядка, все это примеры разрешения одной и той же проблемы, поставленной перед идеологами авангарда капиталистической буржуазии, примеры попыток передать с помощью философских символов отношение означенной буржуазии к факту роста и, вместе с тем, „поражения кадров исполнителей — организаторов»[96].

Возможно, читатель, ознакомившись с этой тарабарщиной, проведет несколько веселых минуток. Однако не стоит забывать, что мы имеем дело с одной из разновидностей мании преследования, которая при определенных политических условиях далеко не безопасна. Пока обвинения выдвигаются против Спинозы и Лейбница, ничего серьезного. Но вспомним, что Россией ныне управляют Шулятиковы, что Ленин — тот же Шулятиков и что ЧК вместе со всякого рода обычными бандитами насчитывает в своих рядах и энное число Шулятиковых. Не будет преувеличением сказать, что миллионы русских были расстреляны большевиками по обвинению в контрреволюционной конспирации, столь же доказанному, как и тайный союз между Спинозой и международной буржуазией или «мануфактурный» характер философии Лейбница и Канта.

Вернемся к Ленину. Не делая его крайним за все «философские» постулаты Шулятикова, мы усматриваем присущий обоим авторам один тип мышления и убеждены, что приход к власти на высочайшем уровне человека, который написал подобную книгу, чреват огромной опасностью для нашей тридцативековой цивилизации. Ибо какова, в сущности, разница между ним и Халифом Омаром, который якобы сжег Александрийскую библиотеку? «Ежели эти книги содержат то, что есть в Коране, они бесполезны. Ежели в них есть то, чего там нет, они вредны». Замените слово Коран словом Анти-Дюринг, и вы получите точный образ мысли Ленина. Да, впрочем, он и сам сказал: «Книга губит социальную революцию», в чем он абсолютно прав. Если б он пожелал сегодня быть до конца

последовательным, если бы его действия не встречали противодействия со стороны более образованного Луначарского и кое-кого другого, какие еще опыты ставились бы над несчастной Россией? В Советской республике можно было бы в крайнем случае оставить в покое естественные науки, ведь этот Иуда-Мах не сумел бы приспособить их для своих реакционных умозаключений. А вот строгие науки нельзя не заподозрить в идеализме, и потому они представляют определенную опасность. Философия, гуманитарные науки не могли не попасть под запрет, поскольку Юмы и Канты спят и видят, как обмануть рабочего человека и доставить удовольствие хозяину, который оплачивает их писания. Что до Авенариусов, Шуберт-Золдернов и прочих Меньшиковых, с ними все просто: их место в тюрьме, если только не у стенки, как поступили с *подлинным* Меньшиковым. Делом «труса» Хвольсона и черносотенного Лопатина вообще должна заниматься Чрезвычайка, борющаяся с контрреволюцией, спекуляцией и философией. Ей надлежит наблюдать за тем, чтобы преподаватели не использовали ничего иного, кроме изложенного в «Анти-Дюринге». Что до искусства, то оно по самой своей сущности полностью фидеистично, а посему как таковое подлежит бесжалостному изгнанию.

Пусть не говорят, что это преувеличение идей Ленина. К какому иному выводу мог бы прийти, оставаясь последовательным, тот, кто знаком со всей правдой, высшей правдой, и кто объявляет безумным, реакционным и трусливым все, что с ней не согласуется? Шекспировская фантазия Эрнеста Ренана предвидела этот страшный призрак дикаря, угрожающего цивилизации, этакого Калибана, опьяненного местью ко всему, что выше его понимания. Большевизм — осуществление наяву этого мрачного видения. Калибализм в философии, калибализм в политике — вот что принес в мир Ленин.

Глава V О ПРЕДСКАЗАНИЯХ ВООБЩЕ И О ЛЕНИНСКИХ ПРЕДСКАЗАНИЯХ В ЧАСТНОСТИ

Знаю, что коснусь в этой главе легенды, которая кажется всем ненарушимой: в мозгу большинства людей, часто даже тех, кто далек от того, чтобы быть почитателем этой личности, Ленин пребывает *человеком, который все предвидел*.

Не так давно «Юманите» опубликовала следующую заметку, которая свидетельствует о некоем добровольном помрачении в среде тех, кто культивирует в Париже московских героев.

«Уже более года, — пишет «Юманите», — в те времена, когда виконт Грей публиковал свои брошюры о Лиге Наций, народный

комиссар Ленин разоблачил его и назвал инструментом англосаксонской плутократии. Гений Ленин прозревает столь удаленные взаимосвязи и выделяет их столь черным цветом, что его предположения, в силу своей неожиданности, наталкиваются сперва на наше недоверие. По мере того как, с одной стороны, развиваются события, а с другой, мы привыкаем к стилю и способу мышления этого великого ума, мы вправе предположить, что мощь философской изобретательности, из числа самых плодотворных и развитых, соединяется в нем с прозорливостью, которая сама по себе уже поставила бы его в ряды самых выдающихся государственных деятелей нашего времени. Статья из „Таймс", которую мы вам предлагаем, служит полным подтверждением ленинских прозрений».

Это поразительное вступительное слово сопровождается статьей из «Таймс», в которой говорится, что России следует выбирать: «войти ли в семью наций или же попасть в вассальную зависимость от Германии». Никоим образом не касаясь этого вопроса, можно лишь удивляться тому, что разоблачение «буржуазной» основы идей виконта Грея, которое во время войны было общим местом всей социалистической прессы Германии, рассматривается в качестве доказательства гения Ленина, его великого ума и мощи, философской изобретательности (?) и прозорливости. И все остальные хвалебные отзывы, расточаемые в адрес гения политического предвидения большевистского лидера, — примерно в том же духе.

Когда просишь у ленинских почитателей четко назвать его предвидения, они обычно отвечают, что главный большевик предвидел: война окончится революцией.

Не оспаривая этого, я, пожалуй, соглашусь, что он, действительно сделал данное предсказание. Не оспариваю я и того, что он обладает даром некоей проницательности, отнюдь не безграничной. Думаю, он дал и более блестящие доказательства оной, в частности в том, что касается большевистского движения.

А если разобраться по сути: что означало заявить, что война в Европе приведет к революции и ружья пролетариев всех стран обернутся в другую сторону, не в ту, куда направляли их провокаторы империалистической буржуазии?

Это просто-напросто означало повторить общее место революционной доктрины, которая до войны распространялась с помощью пропагандистских брошюр и митингов, стоило затронуть вопрос политики капиталистических стран, либо вопрос колониальных предприятий, либо вопрос вооружений, либо разоружений, либо буржуазного шовинизма, либо пролетарского братства и солидарности. Это-то общее место

Ленин и припомнил в тот момент, когда разразилась мировая бойня, и вот это-то не бог весть какое извлечение из памяти общего места (пусть и подоспевшее ко времени) ныне и навеки заслужило ему титул мужа зело прозорливого. Следует признать, что он разделяет этот титул с г-ном Зиновьевым[97]; и тем не менее всякому ясно: нельзя быть более ограниченным, чем досточтимое alter ego[98] Ленина.

Предсказания, относящиеся к великой трагедии, начавшейся 1 августа 1914 года, можно подразделить на три категории:

1. Большая часть свидетелей этой драмы, состоящая из людей, принадлежащих к различным партиям и интеллектуальным течениям, считала, что эта война пойдет тем же чередом, что и все прочие: будут сражения, победы, поражения, победители и побежденные, тайные и нетайные переговоры, настанет час перемирия, за которым последует мирный договор, и мало-помалу жизнь вновь наладится и войдет в довоенную колею. Мнения, разумеется, очень сильно разделились по вопросу: которая из двух коалиций одержит в войне верх; все считали также, что война будет гораздо короче, чем это произошло на самом деле. Однако дело не в этом.

В этой категории имелись (как в просоюзническом, так и в прогерманском лагере) большинство и меньшинство. Большинство искренне верило в победу и мир, построенный на законности; четырнадцать пунктов еще не были сформулированы, но политические устремления, — чьим из рук вон плохо сформулированным выражением явилась программа президента Вильсона, — имелись в каждом из лагерей. Не было согласия по вопросу: кто представляет право и добрые старые принципы, однако подразумевалось, что победа останется в русле права и добрых старых принципов. А меньшинство, «те, кто не желал быть обманутыми», придавали гораздо меньше значения праву и добрым старым принципам и считали, часто не стремясь заявить об этом во всеуслышанье, что победа явится триумфом силы и что эта война не только будет подобна всем другим войнам, но и мир, которым она окончится, будет подобен всем другим мирам, то бишь станет триумфом национального эгоизма победителя, и что благородная наивность людей, попусту ломающих себе голову и ищущих справедливость там, где она никак не может быть, в очередной раз будет обманута.

Как известно, нельзя быть умнее Вольтера, разве что скопом; и на этот раз весь свет отнюдь не ошибся. Мы и впрямь наблюдали победы и поражения, переговоры и перемирие, и наконец, наступил черед Версальского договора, а он в чем-то схож с Брест-Литовским миром, который, в свой черед, весьма

напоминает как Франкфуртский, так и тот, что был заключен в Кампо-Формио. Парижская конференция с загадочными совещаниями четверок и десяток не слишком отличается от других мероприятий подобного типа; примерно то же, что Венский Конгресс, разве что без балов-маскарадов.

И все же, если взглянуть на это пошире, большинство и меньшинство были не правы. Они недооценили масштаба большой войны. Они недооценили реальности явлений, называемых большевизмом, гражданской войной, террором. Каким бы ни быть выходу из этих вселенских судорог, наблюдаемых повсюду, Европа не сможет и дальше жить, как прежде: эта война решительным образом отличалась от других.

2. Для прочих наблюдателей вопрос мировой войны представал в ином аспекте. Они верили в мир, заключенный на основе права, как и в то, что эта война подобна другим. Они думали, что она породит революции столь же дикие и кровавые, как и она сама. Но ничуть не веря в судьбоносную роль пролетариата, ожидали от окончания войны лишь возрастания всеобщей дикости. Они a priori не могли предположить, что катастрофа, подобная войне, может иметь благие последствия, что она приведет к вечному миру и братству народов, либо к росту материального благополучия, полученного за счет смены экономического строя революционным путем. Для них идеалистически настроенные мыслители, предполагавшие, что всеобщее братство должно выйти из самой кровавой бойни, какую знало человечество, были столь же недальновидными простофилями, как и реалисты империалистической политики, предвкушавшие после победы обогащение своей страны. Ожидать того, чтобы братская гармония людей появилась после нескольких лет варварства и дикости, не было ни более ни менее наивно, чем тратить несколько сотен миллиардов, дабы заполучить в собственность железную дорогу Берлин — Багдад.

Люди, относящиеся к этой категории, думается, ошиблись меньше других. Да будет позволено нам подобное заявление, хотя мы сами принадлежим именно к ней[99].

Да, они были правы, утверждая, что ничего хорошего не может получиться из этой катастрофы и что, если эта война приведет к решительной победе одной партии, победитель навяжет побежденному свою твердую волю, не слишком заботясь о справедливости и этнографических границах. Да, они правы, утверждая, что дикость, присущая зверю по имени «человек», правящая в 1914 году бал, неизбежно наложит страшную печать на конвульсивные судороги, которые зиммервальдцы окрестили «освободительными революциями». Да, они были правы, указывая

в разгар военных побед немцев в 1918 году, — когда армия Гинденбурга была в Шато-Тьери и, казалось, германский империализм торжествует, — на невероятную хрупкость как этого триумфа, так и результатов политической деятельности Бисмарка. Да, они были правы, веря вместе с Лениным и вразрез с мнением большинства в реальную возможность революции в странах, которые больше других пострадают от войны. И в ближайшем будущем станет ясно, что более всего они были правы, когда вразрез, на сей раз уже с Лениным, утверждали, что коммунистический режим не сможет возникнуть в разрушенной и опустошенной Европе, и провозглашенная им пресловутая социальная революция, — «последняя из революций», — столь же абсурдна, как и «последняя из войн», но более дика и ужасна.

Одним словом, что уж кичиться этими предсказаниями, учитывая их абстрактную очевидность и общий характер: мы считаем исторический прогноз, в подлинном смысле этого слова, невозможным, делая исключение лишь для отдельных случаев. Пока философы не отыщут другого смысла в «Его Величестве Случае», мы признаем за ним очень большую роль в управлении людскими делами. И по этой причине, когда нам говорят о человеке, который «с первого дня войны все предугадал», мы a priori уверены, что это не более, чем легенда.

3. Ленин и его немногочисленные соратники в 1914 году представляли третью категорию интеллектуалов. Они считали, что мировая бойня приведет к мировой революции, которая опрокинет капиталистический режим и обозначит наступление коммунистической эры.

Вот как с самого начала войны Ленин определил свою общую точку зрения на линию поведения, которой следует придерживаться: «Война — не случайность, не „грех”, как думают христианские попы (проповедующие патриотизм, гуманность и мир не хуже оппортунистов), а неизбежная ступень капитализма, столь же законная форма капиталистической жизни, как и мир. Война наших дней есть народная война. Из этой истины следует не то, что надо плыть по „народному” течению шовинизма, а то, что и в военное время, и по-военному продолжают существовать и будут проявлять себя классовые противоречия, раздирающие народы. Отказ от военной службы, стачка против войны и т.п. есть простая глупость, убогая и трусливая мечта о безоружной борьбе с вооруженной буржуазией, воздыхание об уничтожении капитализма без отчаянной гражданской войны или ряда войн. Пропаганда классовой борьбы и в войске есть долг социалиста; работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа

в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций. Долой поповски-сентиментальные и глупенькие воздыхания о „мире во что бы то ни стало”! Поднимем знамя гражданской войны!..

II Интернационал умер, побежденный оппортунизмом... III Интернационалу предстоит задача организации сил пролетариата для революционного натиска на капиталистические правительства; для гражданской войны против буржуазии всех стран за политическую власть, за победу социализма!»[100]

Что до *непосредственных* причин катастрофы, Ленин, кажется, верил, по-прежнему клеймя международный капитализм, что война стала для Германии, которой угрожали со всех сторон, *превентивной* войной.

«Мы знаем, что *десятилетиями* трое разбойников (буржуазия и правительства Англии, России, Франции) вооружались для ограбления Германии. Удивительно ли, что два разбойника напали раньше, чем трое успели получить заказанные или новые ножи?»[101]

Следовательно, социалистическая обязанность состоит в том, чтобы напасть сразу на обе коалиции разбойников. Именно эта общая идея продиктовала Ленину линию поведения — занять крайне левую позицию в Циммервальде и Киентале, где его влияние было господствующим. Он так и не отошел от нее. Практически такое поведение было на руку Германии, поскольку дезорганизаторская деятельность Ленина нигде, кроме России, не достигла того уровня совершенства, к которому он стремился.

Впрочем, повторяю, теория Ленина являлась общим местом всех довоенных революционных брошюр. И не нужно — здесь мы имеем в виду ту легенду о нем, о которой речь шла выше — совсем не нужно искать прогнозы, хотя бы и смутные, в статьях Ленина, относящихся к той поре. Там он пишет в императиве; он не предвидел и даже не постарался предвидеть политические события, желая мировой революции. Он даже не был уверен в том, что пролетариат последует за ним:

«Мы не можем— и никто не может— подсчитать, какая именно часть пролетариата идет и пойдет за социал-шовинистами и оппортунистами. Это покажет только борьба, это решит окончательно только социалистическая революция. Но мы знаем с достоверностью, что „защитники отечества” в империалистической войне *представляют* лишь меньшинство»[102].

Так что это чистой воды легенда, будто бы Ленин с первого дня войны предвидел ход событий. Он не смог даже предвидеть, как поведут себя западные социалисты по отношению к военной

катастрофе. Г-н Зиновьев рассказывает, что в начале войны у него была по этому поводу дискуссия с Лениным. Тот думал, что немецкие социалисты станут голосовать против военных кредитов, тогда как сам Зиновьев полагал, что они воздержатся от голосования. На самом же деле они проголосовали за кредиты. А ведь если Ленин так плохо изучил сущность Второго Интернационала, он возможно ошибался и относительно прочности Третьего. В том множестве вышедших в 1914— 1917 годах из-под его пера работ, — сперва в Швейцарии, потом в России, — политических предсказаний немного. Большинство не оправдались, как, к примеру, его знаменитый постулат, что война окончится братанием солдат на фронте. Русская армия прекратила свое существование в 1917 году; болгарскую, австрийскую, турецкую, немецкую армии постигла та же участь годом позже, но братания врагов не было. Побежденные солдаты бежали под натиском солдат-победителей.

Мы вовсе не упрекаем Ленина в том, что он не сделал лучших прогнозов. Но поскольку существует мнение, будто он «все предугадал», мы считали своим долгом все расставить по своим местам. Да, впрочем, повторяю, вовсе не в предсказаниях проявился политический талант Ленина, а в его манере эксплуатировать в интересах своих собственных идей огромные запасы ненависти, которые накопили капиталистический строй и война.

Глава VI [103] ЛИЧНОСТЬ ЛЕНИНА

Это человек, соединивший идеи, представляющиеся ему идеями будущего, со средневековым мышлением.

Отбросим для начала клевету, как мы отбросили легенды. В Ленине видели, хотели видеть агента, находящегося на содержании Германии. Это ложное утверждение. Ленин совершил в интересах Германии (заключив Брест-Литовский мир) больше, чем все ее агенты вместе взятые. Но агентом ее тем не менее не был и никогда не служил ей (чего, заметим в скобках, нельзя сказать обо всех его сотрудниках и подчиненных).

Он не брал немецких денег себе. Для меня это очевидно как божий день. Да и зачем ему было это делать? Этот человек всегда вел бедное существование; знавшие его издавна люди не замечали за ним ни каких-либо пристрастий, ни вкуса к роскоши. Сегодня, когда большевики располагают миллиардами и по поводу его соратников ходят самые скандальные и зачастую верные слухи, грязная хроника щадит его. В погоне за постами и обогащением, увлекшей других, он остается «большевиком, не

нажившим состояния». В этом смысле о нем говорят с восхищением.

Брал ли он плату с немцев за свою пропаганду?

Должен сказать, в 1917 году социалисты, знавшие его на протяжении долгих лет, прежде водившие с ним дружбу (я мог бы назвать очень известные имена), не скрывали, что они рассматривали такую возможность, и притом как весьма вероятную. Один из них публично заявил об этом. «Ради дела Ленин мог бы стащить портмоне», «нет ничего, перед чем Ленин остановился бы, если б считал это необходимым для дела» — таково было почти единодушное мнение лиц, признающих его личное бескорыстие.

Возможно, однажды история даст ответ на этот вопрос. А пока непредвзятость заставляет нас указать на два обстоятельства, как будто подтверждающие наше предположение.

Все немецкие архивы, все счета секретных сумм[104], израсходованных во время войны за границей то ли военными властями, то ли гражданскими, — в распоряжении нынешних правителей Германии, у которых есть веские основания не любить большевиков. И потому, если бы эти архивы содержали документы либо какие-либо сведения, способные скомпрометировать Ленина, неужто Шейдеман, Бауэр, Давид, Мюллер не воспользовались бы ими и не пустили в ход против такого опасного противника[105]?

С другой стороны, генерал Людендорф, в своем качестве диктатора, конечно же, не мог не быть в курсе, а он ничего не пишет в своих мемуарах о золоте, которое Ленин якобы получил от Германии. Он даже считает ошибкой гражданских властей то вольное передвижение, которое было позволено ими большевистскому лидеру в марте 1917 года[106].

На это можно бы возразить, что Шейдеман и Бауэр, так же как и Людендорф, слишком с большим почтением относятся к государственному секрету подобной важности, чтобы вот так легко взять да и выдать его. Поскольку не совсем доказано, что эта война последняя, Германии еще в будущем может пригодиться помощь всякого рода секретных агентов. И в подобных условиях с ее стороны было бы неосторожно по каким-либо причинам обнародовать имена тех, кто однажды оказал ей услугу. Правду сказать, насколько я знаю, со стороны правительства демократической Германии не было сделано никакого заявления о тех, кто в разных странах находился на содержании империалистической Германии, оказывая ей услуги[107].

Какой бы неоспоримой ни была роль немцев в развитии

большевизма в России[108], утверждать, что Ленин получал деньги от правительства Вильгельма II, все же нельзя.

Зато с полной убежденностью можно утверждать, что во всех своих действиях, как до, так и после революции, он явил доказательства своей абсолютной политической аморальности.

Для него не существует ничего, кроме идеи, которой он одержим. Никаких моральных правил, кроме выгоды для дела большевизма. Со злонамеренностью, явленной им столь часто в оппозиционных боях, может сравниться лишь бесстыдство его действий на высшем государственном посту. Тот, кто обвинил Керенского в применении на фронте смертной казни, сам несколькими месяцами позже приказал или позволил расстрелять без всякой причины десятки тысяч человек. Спекулирующие на вековом народном невежестве, его обвинения всегда были почти столь же глупы[109], сколь и полны желчи. В качестве примера приведу факт выдвижения против конституционнодемократической партии (кадетов) обвинения в организации пьяных погромов в Петрограде. Нужно знать партию господ Милюкова, Набокова, Винавера — юристов и профессоров, — чтобы оценить вкус этого обвинения. А сам лидер партии был им осужден в одной из речей за глубокое и безнадежное невежество. В сильной личности г-на Милюкова и правда немало недостатков, но такое, я думаю, вменяется ему в вину впервые. Ленин, впрочем, некогда признался, что рассматривает клевету как дозволенный инструмент в борьбе с политическими противниками.

Этот клеветник к тому же ныне и деспот. И был им всегда: сегодня он правит самодержавно народом в сто миллионов человек точно так же, как правил когда-то кучкой русских эмигрантов. Его собственные коллеги и друзья часто обвиняли его в деспотизме. В одной из своих давних статей он иронически перечисляет эпитеты, которыми его наградили товарищи по партии: самодержец, бюрократ, формалист, централист, односторонний, упрямый, узкий, подозрительный, малообщительный[110].

Мы не откажем себе в удовольствии привести здесь суждение о нем человека, которого трудно заподозрить в антибольшевизме, ибо это г-н Троцкий собственной персоной. Известно, что «блестящий второй» из Совета Народных Комиссаров терпеть не может первого, хоть и расточает порой в его адрес непомерную хвалу. Эта недоброжелательность возникла не вчера, правда, она могла обостриться в последнее время из зависти обычного честолюбца, каковым является г-н Троцкий.

Перед моими глазами брошюра[111], которую последний

посвятил Второму съезду социал-демократической партии, а по сути Ленину. Вот некоторые извлечения из нее: «Нам был предъявлен к уплате чисто ростовщический счет за долги недавнего прошлого, — и история, с безжалостностью шекспировского Шейлока, требовала мяса из живого партийного организма. Проклятье! Мы должны были расплачиваться...[112]

Мы говорим о взысканиях безличной истории. Конечно, мы не думаем отрицать при этом личную ответственность тов. Ленина. На втором съезде Российской социал- демократии этот человек, со свойственными ему энергией и талантом, сыграл роль партийного дезорганизатора... „Осадное положение", на котором с такой энергией настаивал тов. Ленин, требует „твердой власти"». Практика организованного недоверия требует железной руки. Система террора[113] увеличивается Робеспьером. Тов. Ленин делал мысленную перекличку партийному персоналу и приходил к выводу, что железная рука — это он сам — и только он. И он был прав. Гегемония социал-демократии в освободительной борьбе означала, по логике осадного положения, гегемонию Ленина над социал-демократией[114].

Демонстрируя перед съездом назначение Ц. К-та, тов. Ленин показал... кулак (мы говорим без метафор), как „политический" символ Ц.К. Не помним, занесена ли эта централистическая мимика в протокол заседания. Очень жаль, если нет. Этот кулак по праву венчает здание[115].

...тов. Ленин превратил скромный Совет во всемогущий Комитет Общественного Спасения, дабы взять в нем на себя роль „неподкупного Робеспьера"»[116].

Известно, что и Ленин, в свою очередь, не принадлежит к числу сторонников Троцкого. Не говоря уж об издевательских комплиментах, которыми он осыпал его прежде, до и во время войны, в 1918 году, во время заключения Брест-Литовского мира, он написал одну из самых мрачных статей (подписав ее псевдонимом Карпов) о культе «революционной фразы», культе, проповедником которого всегда был Троцкий.

Деспотизм Ленина и его глубокая аморальность в политике, принимавшая порой явно рокамбольный[117] характер, отдалили от него мало-помалу всех независимых представителей социал-демократической партии России. Влюбленная дружба[118] связывала его некогда с Плехановым, ставшим позднее его смертельным врагом. Аксельрод, Потресов, Алексинский, Мартов — все были поначалу с ним. Но лишь покорные посредственности, льстецы, подобные Зиновьеву, смогли в течение продолжительного времени пользоваться его благосклонностью. И даже теперь он обращается, как с прислугой,

с большинством своих именитых сотрудников. Социал-революционная газета «Дело народа» опубликовала в 1918 году любопытное письмо, полное укоризны, обращенное к Зиновьеву, председателю Петросовета, виновного в том, что в святилище большевиков — Смольный институт был допущен «буржуазный» репортер; в этом письме Ленин обращается с высокопоставленным чиновником так, как Петр Первый обращался со своими придворными.

А вот людей самого худшего разбора в своем окружении он терпел. Ныне его сопровождают преступники всех родов, и прежде всего воры. И, кажется, он — неподкупный — неплохо себя чувствует среди этого подлого сброда. С этой точки зрения чрезвычайно любопытно взглянуть на его отношения с Малиновским. Если верить г-ну Бурцеву[119], Малиновский якобы признался Ленину в преступлениях уголовного характера, совершенных в прошлом, и даже заявил, что не вправе оставаться членом Думы, будучи столь скомпрометированным прошлыми грехами. Ленин якобы прервал его, не желая слушать, и сказал, что «для большевиков подобные вещи не могут иметь никакого значения». Похоже на то: один из самых знаменитых большевиков, г-н Радек, исключенный из немецкой социал-демократической партии (до войны), начал свою политическую карьеру с кражи ручных часов. А вот в то, что Ленин то ли узнал, то ли догадался о провокаторской роли Малиновского, мы верить отказываемся. Однако об этом свидетельствует сам Малиновский[120].

Подобная слабость большевистского лидера к каналье с авантюристической жилкой, впрочем, легко объяснима. Великая сила Ленина, превратившая его в настоящего пророка нашего падения в революционную пропасть, как раз в том и состоит, что он обращается к худшим инстинктам человеческой натуры. Самый большой мизантроп не смог бы руководить революцией так, как этот старый большевик. Во имя дела разрушения, коему и служит большевистский строй, он с большим мастерством смог поставить себе на службу мощный социальный фактор — ненависть. Он воспользовался всеми видами ненависти, накопившейся в народе благодаря несправедливости и увеличившейся в годы войны: ненавистью рабочего к капиталисту, мелкого чиновника — к хозяину, крестьянина — к помещику, пролетария-латыша — к богачу, китайского кули к стране, где с ним плохо обращались, угнетенного еврея — к угнетателям, как и самым страшным видом ненависти: солдата и матроса — к офицеру и военной дисциплине. Ненависть, вся ненависть, ничего кроме ненависти — таков архимедов рычаг,

благодаря которому Ленин с поразительной скоростью взлетел на вершины власти. Но ничего прочного не может быть создано единственно на одном этом фундаменте. Рано или поздно Ленин сам станет жертвой монстра, сделавшего его хозяином России.

Однако было бы несправедливо не отметить и тех замечательных качеств, которыми обладает этот человек.

Говорят, политика делается пером и языком. Ленин является публицистом и оратором. Однако не поднимается в этом выше среднего. Его брошюры плохо, небрежно написаны. Сожалею, что не могу дать примеров заурядности его стиля, поскольку пишу по-французски. Самые избитые обороты, самые вульгарные выражения, самые заурядные эпитеты, невероятная грубость по отношению к противнику[121], отсутствие образов — вот характерные приметы стиля его произведений, скучных и читаемых с большим трудом, несмотря на психологический интерес, который вызывает его сектантская логика. Он мало образован вне рамок политэкономии. Русская культура, как и европейская, остались ему чужды. Он видит в них проявление капиталистического духа, который ненавидит со всей силой своей горячей и ограниченной души. Максим Ковалевский сказал бы о нем, что из него мог выйти неплохой преподаватель. Возможно, он и стал бы преподавателем политэкономии, если бы не презирал всякую мысль, отличающуюся от его собственной.

Для его речи характерен яростный задор, он не пользуется красивыми звучными фразами, остроумными шутками, не прибегает к актерству. Троцкий и кое-кто еще из большевистской головки, безусловно, большие ораторы, чем он. Однако один рабочий из большевиков говорил мне, что предпочитает простую манеру Ленина всем трелям партийных соловьев. Возможно, подлинное красноречие в том и состоит, чтобы быть выше красноречия? Скорее, тут глубокое знание аудитории. Ленин — большой знаток толпы.

Бесспорно, он— прирожденный вождь и первостатейный руководитель людьми. Мне несколько раз довелось быть свидетелем того, какое огромное влияние оказывает он на людей, порой на тех, кто по своему складу, взглядам и социальному положению не должны были бы стать легкой добычей большевистской агитации. Позволю себе рассказать о двух случаях, которые меня особенно поразили. Оба они относятся к первым дням большевистского триумфа в 1917 году, но при этом испытали на себе влияние личности Ленина абсолютно разные люди.

В первом случае речь идет о рабочем петроградского завода, человеке лет под пятьдесят, трудяге, отце семейства,

отличающемся спокойным нравом, не слишком умном, еще меньше образованном, честняге. Он считал себя социал-революционером, но, как и большинство петроградских рабочих, с весны 1917 года находился под сильным влиянием большевистской пропаганды, надо сказать, очень умно выстроенной. Завод, на котором он трудился, был «отсталым», рабочие не являлись даже в большинстве своем профессионалами, а скорее крестьянами, которые пришли туда с началом войны. Подавляющая часть не имела и не могла иметь политических убеждений; но почти все называли себя либо меньшевиками, либо социал-революционерами, поскольку то были самые умеренные партии, к которым уважающему себя рабочему прилично было принадлежать; не принадлежать ни к одной из партий считалось дурным стилем (с тех пор времена изменились: сегодня русские рабочие больше и слышать не хотят ни о каких политических партиях). Большевики сначала были в меньшинстве, но держались сплоченно, особняком, получали беспрестанно инструкции и терроризировали остальных: достаточно сказать, что им удалось навязать обязательную подписку на «Правду» (большевистский орган, руководимый Лениным) всем рабочим и мастерам завода. Самими работниками руководил молодой рабочий, очень умный, надменный, умевший хорошо организовать свои личные дела — до перехода к большевикам он входил в «Союз русского народа» (черносотенцы). И вот, тотчас после большевистского переворота, рабочие этого завода пришли на митинг и «присоединились к новому строю». Они выработали и приняли помпезную резолюцию, сомнительную с точки зрения грамотности, но не с точки зрения содержания: вчерашние социал-революционеры и меньшевики приветствовали Советскую власть, диктатуру пролетариата, немедленное заключение всеобщего мира «без аннексий и контрибуций» и т. д., и все это согласно инструкциям, полученным от заводской большевистской ячейки; сотни подобных резолюций пеклись тогда, как блины, на всех заводах и во всех воинских частях Петрограда. Рабочему, о котором я веду рассказ, было поручено отнести эту резолюцию в Смольный, где располагалось тогда правительство. Он отправился туда и был принят непосредственно Лениным, на что у подателя резолюции, вероятно, было мало надежды. Старый демагог, за нехваткой времени отказывавший иностранным министрам, позднее отославший графа Мирбаха — всемогущего посла Германии — к Свердлову, которого не без ехидства назвал «первым должностным лицом Советской республики», принял незнакомого рабочего, явившегося к нему с резолюцией, составленной на

каком-то второстепенном заводике... Вольно же поклонникам большевизма обливаться слезами умиления, слушая рассказ о демократизме председателя Совета Народных Комиссаров. Что до меня, я восторгаюсь его демагогическим талантом: так добиваются популярности в стране, где с нижними слоями населения веками обращались, как со скотом[122]. Я встретил этого рабочего, когда он выходил от Ленина. Он был потрясен, полностью преобразился. Всегда спокойный и рассудительный, он как будто бы находился в состоянии экстаза. «Вот человек, — повторял он, — вот человек, за которого я отдам свою жизнь! Теперь, с ним, начнется новая жизнь! Ах, если бы наш царь был таким! К чему тогда революция?» Последняя фраза, запечатлевшаяся в моей памяти, приведена здесь дословно. Бедняга, сам не зная того, цитировал Шекспира: «Цезарь убит, пусть его убийца станет Цезарем!» «Но о чем он с вами говорил?» — спросил я его чуть позже, когда он слегка успокоился. Ответ был туманный: «Все принадлежит вам, — якобы сказал Ленин, — все ваше. Берите все! Мир — для пролетариев. Не верьте никому, кроме нас... У пролетариев нет друзей: одни мы являемся друзьями рабочих...» Эти демагогические фразы, лишенные смысла, это обещание земного рая, который грядет на смену долгому нищему существованию, рабочий мог до того слышать сотни раз. Что это было? Заразительность глубокой веры? Магнетизм сильной личности[123]?

Второй случай, свидетелем которого я оказался, — совсем иного плана: юноша двадцати лет из очень хорошей, зажиточной и культурной семьи, умница, образованный, сложный и деликатный по внутреннему складу, талантливый поэт, учащийся Политехнического училища и временно Артиллерийского училища. В ночь, последовавшую за большевистским переворотом, волею судеб он оказался в зале Смольного института, где впервые публично показался Ленин, до того скрывавшийся после провала революции в июле. В эту триумфальную ночь все большевистские главари произносили пламенные речи перед подгулявшей солдатней. Однако ни Троцкий, ни другие не произвели на молодого человека впечатления. Зато Ленин, принятый неистовыми рукоплесканиями, потряс его до глубины души. «Это была отнюдь не политическая речь, — делился он со мной. — Это был крик души человека, который три десятилетия ждал этого мгновения. Мне показалось, я слышу голос Джироламо Савонаролы». А ведь юноша вовсе не был сторонником большевиков и так и не перешел на их сторону: это был несчастный Леонид Каннегиссер[124], который год спустя застрелил из револьвера

большевика Урицкого, палача Петроградской коммуны.

Савонарола? Да, возможно. В Ленине есть что-то от Савонаролы, а еще больше от тех фанатиков, которых великое множество в истории русских религиозных сект. С моральной и интеллектуальной точек зрения, в нем соединились Савонарола и Тартюф. Это сложная и в то же время бедная натура: под сложностью я не подразумеваю богатство. Сумасшедший, хитрый, как все сумасшедшие, маленький мудрец и визионер в одном лице, знаток масс, ничего не смыслящий в человеке, *сложный примитив*, сочетающий в себе поверхностные черты: элементарный фанатизм, элементарную хитрость, элементарный ум, элементарное безумие. Возможно, в этом его сила, ибо что есть более элементарного, чем полуобразованная масса русских рабочих? Один писатель, принадлежащий к социалистам, рассказывал мне о том разочаровании, которое испытал, услышав впервые выступление Ленина: создается впечатление, что ленинское красноречие воздействует в большей степени на юных поэтов и старых

Какова цель его политических действий? Социальные эксперименты большого масштаба: он экспериментатор- маньяк. Со всей его верой в себя и свои идеи мог ли он серьезно верить в немедленный и окончательный успех своего великолепно поставленного опыта в Кремле (или, скорее, в Бисетре)? Это, по крайней мере, сомнительно. Он заявил несколько месяцев назад Максиму Горькому (мне рассказал об этом один французский друг, слышавший это от Горького): «Самое удивительное во всей этой истории то, что все еще не нашлось никого, кто выставил бы нас за дверь». Но разве отрицательное воздействие этого эксперимента in anima vili[125] не в счет? В любом случае из этого получится урок коммунизма. Кажется, это главная мысль всех кремлевских коммунистов. «Если мы провалимся, — говорил один из самых известных большевиков, — то снова возьмемся за дело позднее, вот и все. Социальная революция отложится до следующего раза». Все очень просто. Обрушение целого государства, разорение народа, несколько миллионов трупов[126] — стоит ли принимать все это в счет? Разве все это имеет значение для людей со столь высокими устремлениями?

И каковы же результаты действий Ленина? Отвращение, надолго полученное народными массами в России ко всему, что имеет отношение к понятию «социалистический».

«Современные события несомненно являют полное торжество идеи забитой и загнанной буржуазии: ее победители буржуазнее, чем она сама.

Ленин прав: жизнь, взбаламученная „социалистической

революцией", принесет в деревню „кодекс новой правды". Только этот кодекс, вероятно, будет — с небольшими поправками— Десятый Том Свода Законов. Он освятит сложившееся положение вещей, закроет на многое глаза и назовет благоприобретенным награбленное имущество.

«Штык создал у нас новый верхний слой, новоявленную плутократию, капиталистов в хаки, эксплуататоров в красноармейской шапке. Я видел, как эти солдаты плясали на танцульках во дворцах Раевских и Победоносцевых. Сегодняшняя аристократия танцует меньше, чем вчерашняя, но защищать свои права она станет намного лучше.

Любителям исторической телеологии предлагается ответ на вопрос: для чего нужен Ленин? Для торжества идеи частной собственности. Если верить К. Пруткову, рабочих, чем на ученых социологов. «Я ждал, — говорил он мне, — социологического анализа ситуации, а услышал лишь полные ярости призывы и крики ненависти: „Остановите капиталистов! Бросьте их в тюрьмы!" Я был озадачен: так значит вот что такое этот их хваленый Ленин?» — «А аудитория тоже была разочарована?» — спросил я. — «Ему устроили беспрецедентную овацию, — ответил он, пожав плечами. — Quod erat demonstrandum? Чего ж вам еще? Все эти лозунги отличаются ужасающей простотой: „Долой войну! Остановите капиталистов! Берите все, товарищи рабочие!" Да ведь с их помощью он и завладел Россией».

Timeo homines unius libri[127], — учил Фома Аквинский. Гораздо опаснее люди одной газеты. Особенно если она называется «Правдой». Простота большевистских лозунгов — первая из главных сил, которые имеются в наличии у Ленина. Я уже говорил о второй: мизантропической составляющей его поступков. А третья — его вера в самого себя и в свои поступки: эмигрант, влачащий свои дни в нищете, руководящий небольшой группой изгнанников, он был одержим мечтой завладеть Россией, Европой, Вселенной.

В книге «Дон Луиджи Тости» Эрнест Ренан пишет о «пренебрежении к толпе, — сложном чувстве, замешенном на бунтарстве и бессилии, представляющем собой нечто непоколебимое, упорное, стоическое, являющееся отличительной чертой сильных итальянских душ». Все это присутствует и в Ленине. В нем обнаружили натуру мечтателя, согласно традиционным представлениям иностранцев, составляющую главную черту славян. Я не очень люблю обобщения, построенные на основе национальной либо расовой принадлежности, ибо они весьма редко выходят за рамки истинных банальностей, на поверку оказывающихся ложными. Ленин— вполне русский

человек, и все же во многих отношениях нечто противоположное славянину в том смысле, в каком обычно это слово воспринимается специалистами по национальной психологии. Говорят, славяне— люди слабохарактерные; он обладает железной волей. Говорят, славяне — романтики; в нем и на грош нет романтики. Говорят, славяне преклоняются перед метафизикой: нельзя быть в меньшей степени метафизиком, чем Ленин; его мечта, если она у него есть, крайне приземлена: казарма, управляемая большевиками, — вот его идеал.

то[128] „и терпентин на что-нибудь полезен”. Но такое назначение большевистского терпентина представляет, несомненно, одну из самых злых шуток истории.

Протопопов компрометировал реакцию и подготовлял революцию. Ленин компрометирует революцию и подготовляет реакцию. Прежде мы могли утешаться формулой, завещанной России Пушкиным: „чем хуже, тем лучше”. Теперь, к несчастью, чем хуже, тем хуже.

Все, что делается, есть самая очевидная и чистейшая импровизация. Русская революция, как дочь родную мать, напоминает русскую войну. Ленин законный наследник Николая Николаевича. Поход на капиталистический строй, по замыслу и подготовке, стоит похода на Карпаты. Где будут при отступлении „заранее подготовленные позиции”?

В Парижском Люксембургском музее есть прекрасная скульптура Тюргона: слепой ведет парализованного. Московитская Совнаркомия должна была бы украсить свой герб изображением этой статуи»[129].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: КАРЛ МАРКС

Довольно любопытный факт, имеющий лишь один прецедент в истории — христианское учение: почти все силы, ведущие сегодня по всей Европе ожесточенную борьбу друг с другом, ссылаются на Карла Маркса.

В Германии Шейдеман и Гаазе, Носке и Либкнехт, Давид и Ледебюр, Эберт и Роза Люксембург. В России Ленин и Плеханов, Троцкий и Потресов, Мартов и Церетели, Каменев и Дан.

Теоретики буржуазии и те, доказывая невозможность коммунистического строя в России, часто призывали в авторитеты автора «Капитала».

Началось это не вчера, и речь идет о чисто идеологических спорах. Двадцать лет назад в знаменитой полемике между Каутским и Бернштейном оба с большим или меньшим успехом ссылались на тексты Маркса, подобно тому как члены теологических конгрессов и споров ссылаются на Евангелие. Но двадцать лет назад настоящая битва развернулась на страницах «Ное Цайт», «Социалистише моеншафте» и на трибуне Съезда с более-менее изобретательными аргументами и цитатами in verba magistri[130]. Теперь эта битва перенесена на улицы Берлина, Мюнхена, Дрездена, и в ход пошли пулеметы и штыки. Опыт озаботился показать последствия, которые иногда могут иметь расхождения во мнениях у интеллигентов и особенно сектантствующих интеллигентов.

Кто прав, и какова ныне была бы линия поведения Маркса и Энгельса, доживи они до наших дней? Что такое большевизм— логическое продолжение марксизма или его отрицание, нечто противоположное ему?

Тщательному изучению подверглось все, что вышло из-под пера Маркса и Энгельса, были не раз опубликованы произведения, написанные ими в ранней юности, исследована их переписка с Зорге, Кугельманом, Лассалем и т. д., и все же самые авторитетные умы не сходятся во мнениях относительно упомянутых выше вопросов. В мои намерения не входит заново поднимать споры между сторонниками Жореса и Геда во Франции, между ревизионистами и ортодоксальными учеными в Германии, между большевиками и меньшевиками в России[131], поскольку эти споры базируются на аргументах in verba

magistrorum. Если бы было доказано, что Маркс всю свою жизнь был убежденным сторонником диктатуры пролетариата и «переворота» (этого сделано не было), мы, люди, не являющиеся марксистами, не были бы вынуждены менять мнение. Нам представляется, что из этого изучения и из этих дискуссий можно сделать вывод о том, что как экстремисты, так и умеренные вправе изыскивать в трудах отцов-основателей те или иные пассажи, служащие подтверждением их собственных мыслей. Сочинения юного Маркса[132] как будто служат источником аргументов в большей степени для экстремистов, тогда как его труды, написанные после 1859 года[133], как и последние статьи Энгельса, более склонны принимать на вооружение умеренные взгляды, да и тут, как во всяком правиле, возможны исключения. Не думаю, что по этому поводу можно сказать что-то более определенное, не рискуя ошибиться.

Присущи ли наследию Карла Маркса существенные противоречия? Изменялись ли его мысли от «большевистской» концепции социальной истории к более умеренным взглядам? Означают ли внешне противоречащие друг другу цитаты неспособность некоторых учеников и комментаторов сделать различие между тем, что являлось подлинной мыслью Маркса, и случайными высказываниями либо неверно истолкованными пассажами? Мне по силам ответить на это лишь следующее:

Большевизм не является марксизмом, в этом нет сомнений, но выглядит как некое конечное воплощение некоторых идей, содержащихся в молодом марксизме, вобравшем в себя анархистские и синдикалистские доктрины. Роза Люксембург однажды сказала, что марксистская теория — дитя буржуазной науки, но что рождение этого дитя стоило жизни его матери. Мне неведомо, что такое *буржуазная* наука, и по этой причине я не могу разделять крайние взгляды немецкой революционерки со столь несчастной судьбой. Но с гораздо большим основанием можно было бы сказать, что большевизм, незаконный сын марксизма и анархии, уже доставил и доставит еще немало горя своим родителям.

Идеи Карла Маркса были определенными и четкими, когда речь шла о прошлом и настоящем капиталистического строя. Но становились гораздо более размытыми и неопределенными, стоило зайти речи о будущем, что вполне естественно для такого большого ученого, привыкшего оперировать фактами, каким был автор «Капитала». Возможно, Марксу казалось, что он знает, каков будет конец капиталистического мира, но наверняка он этого знать не мог. И неудачный конец его замечательных построений в очередной раз доказывает бессмысленность

предсказаний в области исторических событий.

Нельзя отрицать, что ошибочность марксистского прогноза ныне совершенна очевидна.

Заявляя об этом, я не имею в виду статистические данные, относящиеся к периоду 1850—1900 годов, которыми оперировал Эдуард Бернштейн и его последователи, стремясь доказать, что, вопреки предсказаниям Маркса, количество лиц, относящихся к имущему классу, постепенно увеличивается в Англии, Франции, Германии, что накопление капитала сопряжено не с уменьшением числа магнатов-капиталистов, но с увеличением числа капиталистов разного калибра; что во многих отраслях промышленности наряду с крупными предприятиями, неоспоримо живучими, оказываются средние и мелкие; что повсюду в Европе количество сельскохозяйственных малых и средних предприятий возрастает, тогда как крупных — уменьшается; что марксистская теория кризисов перепроизводства не может претендовать на роль закона, и т. д. Предположив, что все эти данные были опровергнуты Каутским[134], Розой Люксембург[135], Плехановым[136], Лениным[137] (хотя это далеко не так), остается лишь признать, что в области политики предсказания Карла Маркса слишком часто опровергаемы историей, особенно когда речь идет о социальной революции.

Достаточно сравнить великолепный анализ экономических фактов Маркса, данный им в первом томе «Капитала», с его политическими предвидениями, почти сплошь несостоятельными, чтобы осознать, какую опасность представляет собой любая попытка точного предвидения, даже если делается она и столь могучим умом, каким был Марксов.

Читаем в «Коммунистическом манифесте»: «Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь непосредственным прологом пролетарской революции»[138].

Двумя годами позже (1849) Маркс пытался убедить Лассаля, что пролетарская революция вспыхнет не позднее следующего года.

В 1850 году он выступил с идеей перманентной революции, продолжающейся «до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти <...> по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев»[139].

В 1826 году Маркс писал Кугельману: «Мы, очевидно, идем навстречу революции, в чем я, начиная с 1850 года, никогда не сомневался».

В 1872 году он утверждал в письме Зорге: «пожар разгорается во всех углах Европы».

Энгельс же еще тридцать лет назад заявлял: «Царское правительство этот год уж не протянет, а когда уж в России начнется — тогда ура!»

«Вера есть вера, даже если она и называет себя наукой».

Я не делаю специального упора на предсказаниях Маркса и Энгельса, относящихся к внешней политике. Достаточно вспомнить, что Маркс видел в Бисмарке «простой инструмент петербургского кабинета министров» (das blosse Werkzeug des Petersburger Cabinets) и что в одном из своих писем Зорге Энгельс утверждал: «Если разразится война, можно с полной уверенностью заявить, что после нескольких боев Россия вступит в союз с Пруссией в ущерб союзу с Австрией и Францией: каждая пожертвует своим союзником».

Что уж говорить о самой основе «научного» социализма, знаменитой Zusammenbruchstheorie — разве она не развенчана полностью опытом последних пяти лет?

В начале 1918 года я писал в «Армагеддоне»:

«Научная теория социальной революции выставляет следующие положения.

Развитие капиталистического строя происходит по определенным законам, в силу которых капитал концентрируется во все меньшем числе рук, а широкие массы населения подвергаются процессу пролетаризации. С другой стороны, производство товаров растет быстрее, чем потребление, и все резче обозначается недостаточность рынка для великих промышленных стран, находящая выражение в империализме. Рано или поздно, но неизбежно должен наступить момент хронического перепроизводства, справиться с которым неустойчивое, неорганизованное капиталистическое хозяйство будет совершенно не в состоянии. Экономическая анархия повлечет за собой социальную революцию. Огромная масса пролетариата, прошедшего на гигантских заводах школу революционной дисциплины, легко справится с противостоящей ей кучкой магнатов капитализма. Произойдет экспроприация экспроприаторов: огромные богатства, накопленные благодаря прогрессу науки и неутомимому труду сотен миллионов людей, будут обобществлены и начнется новая эра в истории человечества.

Творцы научного социализма не описывали, в какие формы непосредственно выльется социальная революция и как быстро она справится с эксплуататорами. Впрочем, Фр. Энгельс еще в 40-х гг. XIX века думал, что крушению капиталистического строя

будет предшествовать великая война. Сходный взгляд высказывал в свое время и Карл Каутский.

Можно сделать, конечно, предположение, что в июле 1914 г. наступило предсказанное Марксом перепроизводство ценностей, которое повлекло за собой мировую войну и тем самым определило катастрофический момент социальной революции.

Нетрудно, однако, убедиться в том, что за последние четыре года европейской истории „имманентные законы развития капиталистического хозяйства" перестали, очевидно, быть имманентными, и проявились тенденции, действующие как раз в противоположном направлении.

Здесь уместны некоторые историко-статистические сопоставления.

Трехлетняя война 1812—1815 гг. стоила России 155 миллионов рублей. Теперь подобная сумма уходит в три дня. В битве при Колензо, которую один из историков называет величайшим поражением Великобритании в XIX веке, англичане потеряли 1200 человек и 10 пушек. Теперь такая битва, быть может, не была бы упомянута в сообщении генерального штаба. Сто лет назад война еще могла стать выгодным делом для нации, так как она стоила в сто раз дешевле; и теперь иная колониальная экспедиция может до известной степени способствовать росту „национального богатства". Но современная европейская война никоим образом, ни при каких условиях не может обратиться в удачный business и— обстоятельство весьма любопытное — многие из реальных политиков нашего фантастического времени проявляют ныне бескорыстный идеализм — сами того не зная.

В самом деле, какие „рынки", какие „пути", какие „выходы" могут окупить фантастические потери, понесенные всеми воюющими странами во время великой войны, этой чудовищной, бессмысленной, иррациональной исторической катастрофы? С большой вероятностью позволительно предположить, что, когда статистика подведет общий итог стоимости четырех лет войны, впервые с тех пор, как существует мир, в финансовую науку проникнет слово триллион (по немецкой математической терминологии— биллион, то есть 1000 миллиардов). До сих пор триллионы существовали только в астрономии. Министерства финансов воюющих держав превратились в издательские фирмы. В Средние века один из королей Англии, для поправления государственных финансов, вынужден был продавать свои поцелуи богатым вдовам. К каким героическим средствам придется прибегать после заключения мира членам правительств так выгодно и дешево повоевавшей Европы?

Отсюда вытекает вопрос. Если даже предположить, что в

июле 1914 г. наступило в Европе общее перепроизводство ценностей, определяющее момент социальной революции, то можно ли без горькой усмешки говорить о перепроизводстве ценностей и о недостаточности рынка теперь, когда в самых богатых из воюющих стран нет предметов первой насущной необходимости?

Следует также принять во внимание, что и другие имманентные процессы развития капиталистического хозяйства подверглись ограничению или даже вовсе сошли на нет в течение последнего четырехлетия. Война вряд ли способствовала концентрации европейского капитала. Правда, за это время составилось немало крупных состояний. Но в общем в течение войны денежные „богатства" распределились между огромным числом людей: обилие печатных денег у крестьян, не говоря о бесчисленных поставщиках, приемщиках, ходатаях, посредниках, ни для кого не составляет тайны. Материальные же богатства подверглись самому беспощадному уничтожению, и в итоге за счет войны не нажилась даже и буржуазия.

Таким образом, если все чего-то не предвидели, то одного обстоятельства не предвидели и марксисты: из тупика перепроизводства, к которому ведет тенденция развития капиталистического мира, нашелся второй, запасной выход „на случай пожара": вместо обобществления ценностей произошло их разрушение в невиданном и неслыханном масштабе. Когда настала долгожданная пора экспроприации экспроприаторов, неожиданно, на беду, оказалось, что экспроприировать нечего, хотя капиталистов очень много. Миру, основывающемуся на новом принципе, ныне остаются в наследство разоренные страны, лежащие на морском дне корабли, расстрелянные снаряды, сожженный порох, обязательство кормить десятки миллионов инвалидов и сирот, да еще несколько сот миллиардов неоплатного государственного долга.

В частности, у нас в России единственным орудием производства является в настоящее время штык. В сущности, пугачевщина 18-го века открывала перед нами почти такие же возможности социализма, как нынешние апокалипсические времена.

Совершенно очевидно, что после войны социализм должен все больше становиться проблемой развития производительных сил. Но так как an und für sich[140] он все же является проблемой перераспределения, то в будущем весьма вероятен, особенно в связи с колониальным вопросом, ряд конфликтов мучительного, быть может, даже трагического свойства. Научной мысли придется много поработать над этими конфликтами, и не надо

терять надежды, что она найдет более или менее приемлемое решение».

Прошло больше года, как я написал эти строки, и я с удовлетворением обнаружил кое-какие мысли, выраженные в них, в недавней статье (апрель 1919 года) Карла Каутского. Я смог ознакомится с нею только по резюме (достаточно подробному), опубликованному в итальянской газете[141]. Вот что говорит выдающийся теоретик марксизма:

«Экономической базой, на которой предстояло возникнуть социализму, являлось огромное богатство, накопленное капитализмом, делающее возможным появление строя всеобщего благосостояния. Это богатство было почти полностью уничтожено за пять военных лет, и таким образом экономическая база социализма сведена к минимуму (e cosi la base economic del socialismo ridotta al estremo).

Часть пролетариата вывела из завоевания политической власти право немедленно достичь благосостояния, что невозможно в нынешних экономических условиях. Другая часть устала от этих крайностей и чувствует невозможность их пережить; но поскольку утрачены экономические ориентиры, у нее нет какой-либо взвешенной экономической программы, она остается в нерешительности... вместо того чтобы энергично открыть путь для смелых реформ, назревших как никогда, учитывая всеобщее обнищание.

Другое и худшее наследство, доставшееся от войны и революции, — культ насилия. Эта долгая война привела пролетариат к обесцениванию экономических условий и вере в насилие. Дух Спартака — в основе духа Людендорфа[142]. Подобно тому как Людендорф не только разорил Германию, но в то же время усилил милитаризм враждебных государств, в частности, во Франции, Спартак не только провалил собственное дело, но и привел к усилению карательной политики правящих кругов. Носке — это естественный противовес Спартаку».

А ведь нелегко усмотреть в утверждениях Каутского что-то иное, нежели признание провала предвидений, еще более замечательное оттого, что оно сделано первым теоретиком этого учения. И если верно, как то утверждает антисоциалистическая пресса, что Карл Каутский сошел ныне с некоторых марксистских позиций, одних из самых значительных[143], вероятно, это связано прежде всего с теми сюрпризами, которые были ему уготованы мировой войной. Означает ли это, что социалисты попросту не приняли войну в расчет?

Подобное заявление было бы совершенно неверно. Правда, многие социалисты взяли на себя ответственность за страшное

недоразумение; в знаменитой формуле «Коммунистического манифеста»: «у пролетариев нет родины» — они углядели изъявительное наклонение вместо повелительного (Маркс и сам, возможно, углядел его в минуту мессианской экзальтации). Этим социалистам мировая война, должно быть, принесла тяжкое разочарование; оказалось, что у пролетариев есть родина, вне зависимости от того, хорошо это или плохо; оказалось, что — опять-таки непонятно: хорошо это или плохо, — немецкие рабочие, вместо того чтобы бороться с немецкими капиталистами, бросились в бой против французских рабочих и капиталистов. Однако было бы совершенно несправедливо утверждать, что социалисты не предвидели возможности войны. Эта ужасная опасность угрожала мировой цивилизации, они не переставали разоблачать ее[144]. Они делали это в печати, на своих международных конгрессах— в Брюсселе в 1891, в Цюрихе в 1893, в Штутгарте в 1907, в Базеле — в 1912 году. Так Жорес приобрел титул вечной славы (еще один) своими поистине проповедническими речами и страницами, посвященными им страшному призраку войны. Над ним часто иронически посмеивались в связи с этим[145]. Сегодня стараются об этом забыть, что вполне естественно.

Но чего и впрямь не смогли предвидеть социалисты, и прежде всего марксисты, — того, как отзовется мировая война на их доктрине и их собственных судьбах. Им было невдомек (как и всем остальным, впрочем, и ученым и генералам), как долго продлится конфликт мирового масштаба и каковы будут его экономические последствия. Как и то, что в 1914 году всем им строгим законом будет предписано защищать, несмотря ни на что, свою родину и что в этом году они будут захвачены мощным психологическим потоком, направленным на защиту отечества. Г-н Герман Мюллер был безусловно искренен, когда, явившись в Париж накануне всеобщей мобилизации, заявил своим французским товарищам, что немецкая партия не проголосует за военные кредиты[146]. А несколькими днями спустя она единодушно за них проголосовала. Да и Маркс проголосовал бы, и даже возможно, Энгельс.

С войной воцарился хаос, хаос в теориях и в практике. Он длится и поныне, более сильный, чем когда-либо. Не так давно Гаазе, Шейдеман, Либкнехт были друзьями, членами «самой большой и лучше всех организованной» партии, набравшей четыре миллиона голосов на выборах, обладавшей столь же великолепной, сколь и непоколебимой теоретической базой. Увы, из этой уникальной базы они сегодня сделали выводы, которые заставляют их расстреливать друг друга, резать друг другу

глотки: марксистская пресса обвиняет марксиста Шейдемана в том, что он подослал убийц к марксисту Курту Эйснеру! Марксист Гаазе называет марксиста Носке палачом. Марксист Гофман расстреливает марксистов Левина и Ландауэра. И все действуют от имени Маркса. Какой позор, и какой крах!

А вот этот крах Ленин как будто бы предвидел. «То, что теперь мы переживаем зачастую только идейно: споры с теоретическими поправками к Марксу, — то, что теперь прорывается на практике лишь по отдельным частным вопросам рабочего движения, как тактические разногласия с ревизионистами и расколы на этой почве, — это придется еще пережить в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные вопросы, сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное значение для определения поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять врагов от друзей, выбрасывать плохих союзников для нанесения решительных ударов врагу»[147].

Правда, в этом хаосе теории и действия имела место знатная чехарда, которой Ленин предвидеть не мог. Бывшие ревизионисты ныне среди независимых, а бывшие ортодоксы оказались среди большинства. Эдуард Бернштейн и Георгий Плеханов обменялись двадцать лет назад достаточным количеством аргументов, цитат, иронических замечаний и оскорблений. Г-н Бернштейн, к примеру, говоря о «комической ярости — дабы не воспользоваться более сильным выражением— г-на Плеханова против всех социалистов, которые уже сейчас не видят, что уготовила рабочему классу его историческая судьба, и которые все еще видят проблемы там, где он видит одни готовые решения. Ведь пролетариат, это он!»[148]. Русский марксизм почти превратил г-на Бернштейна в «сторонника бессмертного Бастиа». А ведь именно Плеханов в 1917—1918 годах руководил в Петрограде органом «Единство», самой умеренной из социалистических газет, когда-либо известных миру. И Бернштейн сегодня — друг независимых. Плеханов, пораженец 1904 года, превратился в сторонника решительных действий. А Бернштейн, бывший патриот, столь возносимый либералами, бывший шовинист, так ненавидимый интернационалистами, Бернштейн, желавший, чтобы у Германии были колонии, Бернштейн, одобрявший аннексию Кяучау[149], ныне поднимает в своей стране волну возмущения, утверждая, что «девять десятых по меньшей мере условий мира в Версале справедливы».

Стоит подумать об этом хаосе, и почти невольно возникает мысль, что судьба мстит таким образом тем, кто считал, что знает *всю правду*. Большая заслуга «научного» социализма в том, что он

дал социальной науке новый *метод исследования*: *метод* же Маркса послужил ему философским камнем. Такое ощущение, что этот камень был ничем не лучше других.

Карл Маркс, великий утопист научного социализма, подарил миру новое мессианство, мессианство пролетариата. Сегодня его судит сама жизнь. Экономическому мессианству она дает явное опровержение. И разоблачает нравственное мессианство. Ибо многие марксисты считали, что рабочий класс — «прибежище всякой цивилизации, всякого ума, всякой добродетели». Менее всего это относится к самому отцу-основателю, этот проповедник социализма не очень жаловал человеческую породу. Но лучшие из нынешних большевиков — и прежде всего из немецких спартаковцев и французских и итальянских экстремистов— проникнуты пролетарским нравственным мессианством в гораздо большей степени, чем пролетарским социологическим мессианством. Жизнь мало-помалу мстит им за себя. Она показывает, что пролетариат, с точки зрения интеллектуального развития, несравненно ниже буржуазии. С точки зрения нравственной, он ее стоит (это еще мягко сказано), ни в чем значительно не превосходя. В большей степени занятый трудом, менее эгоистичный, оттого что обездоленный, более смелый, чем буржуазия, он обладает и большими нравственными недостатками, проистекающими из очень низкого уровня интеллектуального развития. В этих условиях можно с большой долей вероятности сказать, что пролетарское мессианство принесет западным марксистам те же жестокие разочарования, которые он уже принес самым искренним и самым умным из русских марксистов. Нет, первые нравственные и интеллектуальные плоды социалистического строя еще далеки от воплощения. У нас сегодня есть печальное право быть большими пессимистами, чем был Фридрих Шиллер в 1793 году.

Глава II ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: МИХАИЛ БАКУНИН

Известно, что Михаил Бакунин стал прототипом Рудина в романе Тургенева, лично хорошо знакомого с ним; Рудин— человек безвольный, бесполезный, краснобай, неспособный на какое-либо серьезное действие. Это чрезвычайно любопытный факт, если подумать, что Бакунин до Ленина был единственным русским, сыгравшим большую роль в революционной истории Европы[150], и что следы его мыслей и поступков и сегодня еще, почти полвека после его смерти, можно отыскать там.

Бакунин не был ни философом, ни теоретиком, хотя ему

порой и были свойственны озарения и он обладал большой культурой. У него неоспоримо был писательский дар, но писал он мало, в спешке, помимо воли (как сам неоднократно признавался). Писания его, всегда очень живые, интересные, несмотря на недостатки и на большую наивность, часто сквозящую в них, полны всякого рода отступлениями; большинство же вообще не завершены; иные опубликованы только посмертно. Он почти всегда менял первоначальный план в процессе работы над своими брошюрами, и потому в них трудно сориентироваться. Так, в его большом политическом труде «Кнуто-германская империя и социальная революция» вопрос о Боге поднимается самым неожиданным образом — думаю, даже и для самого автора — и принимает такие размеры, что Карло Каффиеро и Элизе Реклю, публикуя в 1882 году, спустя шесть лет после смерти Бакунина, большую часть этой рукописи, озаглавили ее: «Бог и Государство». По манере письма Бакунин был антиподом Карла Маркса, его вечным антагонистом: писания Маркса своей строгой логической выстроенностью похожи на математические теоремы.

Ленину далеко до богатой и широкой натуры Бакунина; он несравненно ниже того и по природной одаренности; он был бы оскорблен, если б ему сказали, что есть кое-что схожее в области их воззрений. Однако схожесть эта поражает: многими своими излюбленными мыслями Ленин обязан Бакунину. Вопрос не в том, позаимствовал ли он их у него или сам до них дошел.

Общая идея, руководящая Лениным в области политики начиная с конца 1917 года, — отрицание принципа всеобщего избирательного права. Учредительное собрание для него — «диктатура буржуазии»[151].

Это же и излюбленная мысль Бакунина: «Всеобщее избирательное право, покуда оно будет применяться в обществе, где народ, масса трудящихся, будет экономически подавляема меньшинством... никогда не сможет породить ничего, кроме иллюзорных выборов, антидемократических и совершенно не соответствующих нуждам, инстинктам и реальной воле народа»[152].

Впрочем, это и повторение знаменитой фразы Прудона: «Всеобщее избирательное право есть контрреволюция» («Революционные мысли»). Добавлю, что Бакунин видел в этом одно из кардинальных отличий свой концепции от Марксовой:

«Марксисты исповедуют противоречивые идеи. Как и подобает добрым германцам, они поклонники государственной власти и непременно проповедники политической и социальной дисциплины, чемпионы порядка, устанавливаемого сверху

донизу, всегда во имя всеобщего избирательного права и суверенитета масс, которым отводится роль членов общества, счастливых и удостоенных чести слушаться своих руководителей, своих избранных хозяев»[153].

Однако нужно сказать, что Ленин пошел дальше Бакунина. Последний отрицал всеобщее избирательное право постольку, поскольку «неравноправие экономических и социальных условий жизни будет и дальше превалировать в организации общества». А ведь это неравенство было уничтожено в России усилиями большевиков. Однако, насколько мне известно, там пока не идет речи о восстановлении всеобщего избирательного права. Ленин считает, что система Советов гораздо надежнее. И прав.

Аналогичным образом обстоит дело и с критикой буржуазных свобод. «Ибо ни в одной цивилизованной капиталистической стране не существует „демократии вообще"». «Теперешняя защита буржуазной демократии под видом речей о „демократии вообще" и теперешние вопли и крики против диктатуры пролетариата под видом криков о „диктатуре вообще" являются прямой изменой социализму, фактическим переходом на сторону буржуазии»[154]. А вот что утверждает Бакунин: «В самых демократических, с точки зрения политической, странах, самых свободных, таких как Англия, Бельгия, Швейцария и Соединенные Штаты Америки, свобода и политические права, которыми якобы наслаждаются рабочие, — не более, чем фикция»[155].

Для вхождения в Интернационал, по мнению Бакунина, нужно «понять, что имущие классы, эксплуататорские и правящие, никогда добровольно, из великодушия или чувства справедливости, не сделают никакой уступки, какой бы срочно необходимой она ни казалась и какой бы ничтожной ни была, пролетариату, оттого, что это противно природе, а именно их собственной специфической природе... Что означает, что трудящиеся смогут реализовать свое освобождение и отвоевать свои человеческие права лишь борьбой, *в войне, организованной трудящимися всего мира против капиталистов и собственников — эксплуататоров всего мира*»[156] (курсив Бакунина). Разве это не одна из излюбленных ленинских фраз?

Но самое важное то, что концепция условий, которые делают революцию возможной, одинакова что у Бакунина, что у Ленина. Бакунин всегда твердо верил, что можно делать революцию все равно где и все равно когда.

«Представьте себе,— писал он в 1872 году своим итальянским друзьям, — что во всех селениях и деревнях поднимается вопль: *Война замкам, мир хижинам*!, как во время бунта германских крестьян в 1520 году, или еще более

экспрессивный: *Землю трудящимся*! Думаете, много найдется в Италии крестьян, которые останутся равнодушными? А тогда уж сожгите побольше официальных бумаг, вот вам и готова социальная революция».

Этот образ социальной крестьянской революции всегда владел воображением Бакунина. Он возвращается к нему в нескольких своих работах почти всегда в одной и той же форме, приводя в качестве исторического примера то «пропаганду, которую кардинал Руффо[157], развернул в Калабрии в конце предыдущего века» то свое любимое восстание 1520 года, когда «германские крестьяне поднялись с потрясающим социалистическим криком: *Война замкам, мир хижинам*! — который сегодня звучит иначе, хоть и не менее потрясающе: „Долой всех эксплуататоров и всех попечителей человечества; свобода и процветание — труду, равенство всех, братство человеческого мира, свободно учрежденного на руинах всех государств”»[158].

И в этом также Бакунин усматривал фундаментальную разницу между концепцией Маркса и собственной:

«Социальная революция, такая, какой ее себе представляют, желают и видят в своих надеждах латинские и славянские трудящиеся, несравненно шире, чем та, которую им обещает немецкая или марксистская программа.

Для них речь идет не о том, чтобы освободиться в скупо отмеренных рамках и постепенно рабочему классу, но о том, чтобы полностью и по-настоящему освободиться всему пролетариату, не только в нескольких странах, но во всех нациях, цивилизованных и нецивилизованных, получив новую цивилизацию, истинно народную, дебютирующую этим актом всеобщего освобождения. И первым словом этого акта может быть лишь слово свобода, не та политическая, буржуазная свобода, всячески рекомендованная как объект для завоевания, предварительно рассмотренный г-ном Марксом и его единомышленниками, но великая человеческая свобода — разрывая все догматические, метафизические, политические и юридические цепи, которые все на себе ныне ощущают, она вернет всему миру, коллективам и индивидам, полную автономию движений и развития, вырвавшихся раз и навсегда из-под опеки всех инспекторов, директоров и попечителей»[159].

В этих условиях и впрямь нет почти никакой разницы между крестьянским бунтом в Германии в XVI веке и будущей социальной революцией, всячески рекламируемой Бакуниным. Все нации, цивилизованные и нецивилизованные, могут разом освободиться и перейти немедленно в коммунизм, вместо того

чтобы следовать путем, указанным Марксом, к «скупо отмеренной и постепенной» свободе рабочего класса. «Рассуждение г-на Маркса, — продолжает Бакунин, — приводит к противоположным результатам. Принимая к сведению лишь экономические вопросы, он говорит себе, что самые продвинутые страны и вследствие этого самые способные совершить социальную революцию, — те, в которых современное капиталистическое производство достигло наивысшей точки своего развития. Они, и только они— цивилизованные страны, единственные, кто призван начать революцию и направлять ее»[160].

Оставляя в стороне форму, в которой Бакунин излагает учение Карла Маркса, мы считаем, что он довольно- таки точно уловил разницу между двумя концепциями. А ведь большевизм «осуществил» социальную революцию в самых отсталых в экономическом отношении странах Европы — в России и в Венгрии. Он взирает на всеобщее послевоенное бедствие как на прочную основу коммунизма, он ведет пропаганду немедленной социальной революции в Китае, Индии, Аргентине. Его спрашивают: к какой из этих двух концепций он ближе?

С другой стороны, в немаловажном значении сохранения либо уничтожения государства мысль анархиста Бакунина, разумеется, совершенно определенна:

«Кто говорит Государство, тот говорит насилие, подавление, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и ставшие фундаментальными условиями самого существования общества»[161]. «Кто говорит международная Ассоциация трудящихся, говорит — отрицание Государства»[162]. «Способ и условие, если не главная цель революции — уничтожение принципа власти во всех его возможных проявлениях, полное уничтожение политического и юридического государства»[163].

Мысли Ленина по этому вопросу туманны и противоречивы. На том же докладе съезду Третьего Интернационала в XX параграфе сказано следующее:

«Уничтожение государственной власти есть цель, которую ставили себе все социалисты, Маркс[164] в том числе и во главе. Без осуществления этой цели истинный демократизм, т.е. равенство и свобода, неосуществим. А к этой цели ведет практически только советская, или пролетарская демократия, ибо, привлекая к постоянному и непременному участию в управлении государством массовые организации трудящихся, она начинает немедленно подготовлять полное отмирание всякого государства»[165].

Впрочем, в других параграфах этого документа речь об уничтожении государства не идет; скорее ведется разговор об его

усилении с помощью приближения к массам чиновничества.

«Старая, т.е. буржуазная демократия и парламентаризм были организованы так, что именно массы трудящихся всего более были отчуждены от аппарата управления. Советская власть, т.е. диктатура пролетариата, напротив, построена так, чтобы сблизить массы трудящихся с аппаратом управления, той же цели служит соединение законодательной и исполнительной власти при советской организации государства и замена территориальных избирательных округов производственными единицами, каковы: завод, фабрика»[166].

«Сущность Советской власти состоит в том, что постоянной и единственной основой всей государственной власти, всего государственного аппарата является массовая организация именно тех классов, которые были угнетены капитализмом, т.е. рабочих и полупролетариев (крестьян, не эксплуатирующих чужого труда и прибегающих постоянно к продаже хотя бы части своей рабочей силы). Именно те массы, которые даже в самых демократических буржуазных республиках, будучи равноправны по закону, на деле тысячами приемов и уловок отстранялись от участия в политической жизни и от пользования демократическими правами и свободами, привлекаются теперь к постоянному и непременному, притом решающему, участию в демократическом управлении государством»[167].

По поводу управленческого аппарата мысли Ленина и Бакунина схожи во всем. Бакунин усматривал в 1870 году великое преступление «адвокатов и доктринеров-ученых, входящих в состав Правительства Национальной Обороны», в том, что они не разрушили до основания весь административный аппарат вооружившейся Франции, «начиная с Паликао до последнего сельского сторожа», как и всевозможные трибуналы. Ленин ставит себе в заслугу то, что разрушил этот аппарат в России:

«Советская организация государства приспособлена к руководящей роли пролетариата, как класса, наиболее сконцентрированного и просвещенного капитализмом. Опыт всех революций и всех движений угнетенных классов, опыт всемирного социалистического движения учит нас, что только пролетариат в состоянии объединить и вести за собой распыленные и отсталые слои трудящегося и эсплуатируемого населения.

Только советская организация государства в состоянии действительно разбить сразу и разрушить окончательно старый, т.е. буржуазный, чиновничий и судейский аппарат, который сохранялся и неизбежно должен был сохраняться при капитализме даже в самых демократических республиках, будучи

фактически наибольшей помехой проведению демократизма в жизнь для рабочих и трудящихся. Парижская Коммуна сделала первый всемирно-исторический шаг по этому пути, Советская власть — второй»[168].

Я даже сказал бы, что некоторые практические идеи, сделавшие имя Ленина знаменитым, — всего лишь плагиаты бакунинских проектов. Одна из них — всем известная идея рабочих и красноармейских походов в деревни.

Бакунин оставил интересную характеристику крестьян: «Крестьянин ненавидит все правительства. Он относится к ним с осторожностью, терпит их, регулярно платит налоги и страдает оттого, что они забирают его сыновей в солдаты, оттого что не видит, как бы он мог поступить иначе, и не идет навстречу никакому изменению оттого, что говорит себе — все правительства стоят одно другого и новое правительство, как бы себя ни называло, не будет лучше прежнего, и оттого, что хочет избежать риска и расходов, связанных с бессмысленными переменами»[169].

Но что же делать? — спрашивает Бакунин. И отвечает: «Есть лишь один способ, так же быстро революционизировать деревни, как и города. Кто может это сделать? Единственный класс, который реально носит в себе революцию: класс городских тружеников». И предлагает: «*Нужно послать в деревни в качестве пропагандистов революции добровольцев*» (курсив Бакунина).

«Общее правило, — добавляет он, — тот, кто хочет пропагандировать революцию, должен быть сам честным революционером. Чтобы поднять людей, нужно обладать бесовским началом; иначе все кончится лишь болтовней, пустым звуком, но не действием. Следовательно, прежде всего, добровольцы-пропагандисты должны сами быть организованными и вдохновенными революционерами. Они должны нести революцию внутри себя, чтобы суметь спровоцировать ее и вызвать в тех, кто их окружает. Затем они должны наметить себе план, линию поведения, соответствующую задаче, которую ставят перед собой».

Что же это за план, что за линия поведения?

«Им следует начать с того, чтобы сломать всяческую коммунальную администрацию, неизбежно зараженную бонапартизмом, если не легитимизмом или орлеанизмом, атаковать, изгонять и по мере надобности арестовывать господ чиновников на местах, как и всех крупных помещиков-реакционеров, и г-на священника вместе с ними, ни по какой иной причине, как по причине их тайного сговора с пруссаками».

Оставив в стороне несколько слов, устаревших в наше время,

таких как бонапартизм, легитимизм, орлеанизм (впрочем, им нетрудно найти замену: контрреволюция, корниловщина, меньшевизм и т. д.), а также сетования на сговор с пруссаками, который Бакунин, при всем его интернационализме, инкриминировал французским буржуа 1871 года — не следует касаться этого вопроса, коль скоро речь идет о большевиках, как не стоит говорить о веревке в доме повышенного, — мы получим программу, довольно близкую программе Ленина 1918—1919 годов. Но самое интересное в том, что знаменитая идея комитетов бедноты также не принадлежит Ленину: ее автор — Бакунин.

Вот что последний предписывал своим волонтерам: «Законная муниципальная власть в деревнях должна быть заменена революционным Комитетом, образованным из небольшого числа крестьян, самых энергичных и искренне уверовавших в революцию».

Однако дабы заинтересовать большинство крестьян в революции, по Бакунину, следует посулить им немедленно «большие материальные выгоды»: «Революция 1789 года дала крестьянам церковные земли; они пожелают воспользоваться следующей революцией, чтобы заполучить земли дворян и буржуазии»[170].

Здесь здравый смысл умного человека, каким был Бакунин, входит в противоречие с его анархистскими угрызениями совести, и противоречие тотчас разрешается софизмом метафизика:

«Но ежели это случилось бы, — предполагает он, — если бы крестьяне наложили лапу на всю землю, которая им не принадлежит пока, разве не позволили бы они тем самым усилиться прискорбным образом принципу личной собственности и не оказались бы как никогда враждебны социалистам — рабочим из городов?

Вовсе нет, раз уничтожено Государство, а с ним и юридическое и политическое освящение, гарантии собственности со стороны Государства им будет недоставать. Собственность не будет более правом, она будет сведена до состояния простого факта»[171].

Ленин, mutatis mutandis[172] реализовавший программу деревенских проектов Бакунина и более любого другого приведший к триумфу принципа частной собственности, может утешиться этой неожиданной мыслью.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что концепция характера революции одна и та же что у Ленина, что у Бакунина. Они были людьми разными, и доктрины их не могут быть одинаковыми.

Бакунин считал, что революции подвластно все, даже победа над внешним врагом. В этом он являлся наследником якобинцев 1793 года. Можно даже сказать, что его вера в необходимость революции во Франции никогда не была так сильна, как после Седана. Он был убежден, что социальная революция французских крестьян, ведомых волонтерами, способна одолеть армию Мольтке и свести на нет империалистические планы Бисмарка. Все его статьи этого времени свидетельствуют об этой непоколебимой вере: «Что может она (Франция) противопоставить пруссакам? — спрашивает он в «Кнуто-германской империи», — ничего, кроме спонтанной организации мощного народного восстания, Революции»[173]. «Только немедленное и революционное восстание народа способно спасти Францию, — пишет он в «Марсельской рукописи»: — Революция — единственное оружие, остающееся Франции, но оружие страшное, которое — я в этом пока не разочаровался, — одно будет мощнее всех армий короля Вильгельма и всех объединенных армий всех деспотов Европы. Революция! Это слово и то, что под ним понимается, способны воскресить мертвых и удесятерить силу живых»[174]. И добавляет позже, в июне 1871 года в «Преамбуле», написанной в Локарно: «Мне выпала легкая и печальная честь предвидеть и предсказать страшные беды, сегодня поразившие Францию, а с ней и весь цивилизованный мир, против которых не было и нет еще ни одного другого средства кроме Социальной Революции»[175].

Известно, что Ленин настроен не столь воинственно; его политика опирается не на воспоминания о Вальми и Жемапе, но на воспоминания о Калюце и Тарнополе. У него нет никакой веры в военные способности Революции. Бакунин в 1871 году желал «обратить страну целиком в огромную могилу, чтобы похоронить пруссаков». Он проповедовал «варварскую войну с помощью кинжала, если понадобится»[176]. Ленин предпочел заключить Брест- Литовский мир. Да и сегодня, судя по слухам, он на переговорах в Кремле поддерживает линию компромиссов и полюбовных соглашений с Антантой. Ленин знает: война стоила царю царства, Керенскому — власти; он предвидит, что она может пагубно сказаться и на его судьбе. Он требует мира, и в этом в очередной раз являет себя лучшим тактиком, чем Троцкий и другие его сподвижники.

С другой стороны, он гораздо энергичнее, чем Бакунин, когда речь идет о беззащитных существах. Он проповедует и предписывает самый кровавый террор. Бакунин, несравненно более пострадавший от реакции, чем Ленин, Бакунин, дважды приговоренный к смерти, проведший много лет в цитадели

Ольмуц, где он был прикован к стене, в застенках Петропавловской крепости и Шлиссельбурга, где утратил от цинги все зубы, никогда не проповедовал террор и никогда не стал бы его вводить в практику. Жестокость претила его великодушной натуре. «Гильотина, этот режущий государственный инструмент, не убил реакцию, она заставила его ожить... Проливать кровь со всем необходимым юридическим сопровождением— страшна я вещь. Когда делают революцию во имя освобождения человечества, следует уважать жизнь и свободу людей, но я не понимаю, к чему уважать биржи»[177]. «Революция... ни мстительна, ни кровава. Она не требует ни смерти, ни даже массовой или личной депортации всего этого бонапартистского сброда, который, вооружившись мощным оружием и гораздо лучше организованный, чем Республика, открыто замышляет против Республики, против Франции. Она требует лишь заключения под стражу всех бонапартистов в качестве простой меры всеобщей безопасности до конца войны, до тех пор, пока эти мошенники и мошенницы не отдадут, по крайней мере, девять десятых своих богатств, уворованных у Франции. После чего она сможет им позволить уйти, куда они захотят, даже оставив несколько тысяч ливров ренты каждому, дабы они могли кормить на старости лег себя и свой стыд».

С другой стороны, Бакунин, в противоположность Ленину, не имел личных амбиций, не был одержим жаждой власти. Он искренне ненавидел Робеспьера (как и Жан-Жака Руссо)[178]; он порвал с Нефшателем, как только получше узнал его. «Мы не предполагаем — говорил он,— даже в качестве промежуточной революционной меры, — ни национальных Конвентов, ни Учредительных Собраний, ни временных правительств, ни так называемых революционных диктатур, оттого, что уверены: Революция искренна, честна и подлинна лишь в массах, а когда она оказывается сосредоточенной в руках нескольких правящих индивидов, она неизбежно и тотчас становится реакцией»[179].

Истоки идеи о диктатуре пролетариата во всяком случае следует искать не у Бакунина.

А вот социальная база, на которую Бакунин хотел опереть социалистическую революцию, — именно та, которой пользуется сегодня Ленин. Но если последний никогда не отважится признаться в этом, Бакунин заявил об этом в самых что ни на есть недвусмысленных выражениях: «Под цветом пролетариата я понимаю прежде всего ту огромную массу, те миллионы нецивилизованных, обездоленных, нищих и неграмотных, которых г-н Энгельс и г-н Маркс желают подчинить отеческому режиму *очень сильного правительства*[180], конечно же, ради их

собственного спасения, как и все правительства, созданные, как известно, в интересах масс. Под цветом пролетариата я понимаю именно эту вечную плоть, которой требуется руководить, *эту великую народную сволочь*[181], которая будучи почти не затронута буржуазной цивилизацией, несет в себе, в своих страстях, в своих инстинктах, в своих устремлениях, во всех потребностях и горестях своего коллективного положения ростки социализма будущего и которая одна достаточно сильна сегодня, чтобы начать и привести к победе Социальную Революцию»[182].

Глава III ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ: ЖОРЖ СОРЕЛЬ

На мой взгляд, г-на Жоржа Сореля представляют слишком уж большим теоретиком пролетарской забастовки. Возможно, он сам в этом виноват, поскольку часто сводил свое мировоззрение к этой посредственной идее, которая была самым категоричным образом опровергнута всеми революциями, случившимися после войны — русской, немецкой, австрийской, венгерской. Г-н Сорель однако в гораздо большей степени является духовным отцом синдикализма (этот славный титул мало что значит), он философ, психолог и даже поэт, одержимый мыслью о созидающем насилии и, возможно, единственный приверженец этой идеи в стане социалистов. Карл Маркс, к примеру, был лишь социологом и в качестве такового, разумеется, намного превосходит Сореля. Однако ему не пришло в голову заняться психологией насилия.

А именно в этом усматриваю я духовную связь Сореля и Ленина. Теоретик и практик большевизма почерпнул у Карла Маркса (порой до неузнаваемости преобразив его идеи, хотя это для него в общем не характерно) теорию борьбы классов и *пролетарское мессианство, названное научным социализмом*, идеи диктатуры пролетариата и «конечной катастрофы». У Бакунина он позаимствовал его веру в возможность коммунистической революции в любое время, в любом месте, любыми методами и удосужился — одному Богу известно, каким чудом, — присоединить ее к своему марксизму. И наконец он нашел у Сореля, который, впрочем, не входит в круг его предпочтений, глубокое убеждение в святости и необходимости насилия.

Я не стану вдаваться здесь в подробности теории пролетарской забастовки, являющейся для Сореля теорией Социальной Революции. Полагаю, она довольно известна. Но приведу несколько выдержек из его гимна во славу созидающего насилия, с которыми особенно полезно ознакомиться в наши дни, Anno Domini[183] 1919, в свете опыта большой войны и большевистской революции.

«Революционное насилие не только способно обеспечить пришествие будущих революционных преобразований, но, кажется, это единственный способ, имеющийся в наличии у европейских наций, одуревших от гуманитарности, для того чтобы обрести былую энергию. Насилие вынуждает капитализм сосредотачиваться исключительно на своей материальной роли и сообщает ему присущую некогда воинственность. Растущий и

организованный рабочий класс способен поддерживать в капиталистическом классе огонь промышленных битв: перед лицом жадной до завоеваний и богатой буржуазии восстание объединившего свои усилия революционного пролетариата вынудит капиталистическое общество достичь стадии исторического совершенства». «Опасности, угрожающей будущему мира, можно избежать, ежели пролетариат будет упрямо цепляться за революционные идеи, дабы привести к исполнению, насколько это возможно, замысел Маркса. Все можно спасти, если насилием удастся заново укрепить деление на классы и вернуть буржуазии хоть часть ее энергии; вот великая цель, к которой должно стремиться мировоззрение людей, не загипнотизированных сегодняшними событиями, но думающих об условиях завтрашнего дня. Пролетарское насилие, проявляемое как чистое и простое выражение чувства классовой борьбы, является нам таким образом как нечто в высшей степени прекрасное и героическое: оно находится на службе первоочередных интересов цивилизации; возможно, оно отнюдь не самый лучший способ получения немедленных материальных выгод, но оно способно спасти мир от варварства». «Чем большее развитие получит синдикализм, покидая бывшие суеверия, идущие от Старого режима и Церкви— через образованных людей, преподавателей философии и историков революции, — тем в большей степени социальные конфликты будут иметь характер чистой борьбы, наподобие той, что существует на театре военных действий. Ничего кроме омерзения не могут вызывать люди, обучающие народ тому, что он должен быть привержен некоему идеалистическому завету справедливости, ведущей его в будущее. Эти люди трудятся над тем, чтобы поддерживать мысли о государстве, которые спровоцировали все кровавые сцены 93 года, тогда как понятие классовой борьбы стремится очистить понятие насилия». «Идея всеобщей забастовки, постоянно омолаживаемая чувствами, вызванными пролетарским насилием, порождает эпическое умонастроение и в то же время направляет все силы души к условиям, позволяющим реализовать некую мастерскую, действующую свободно и чудодейственно-прогрессивную»[184].

Г-н Сорель — мыслитель весьма оригинальный; он также, по его собственному заявлению, самоучка[185]. Потребовалось соединение двух этих качеств, чтобы появилась философия насилия и мифология забастовки. Среди необъятного моря прочитанных г-ном Сорелем авторов трое, кажется, произвели на него особенно сильное впечатление: Маркс, Ренан, Бергсон. Эта смесь, возможно, — самое курьезное из того, что может быть.

«Капитал» и «Молитва на Акрополе», «Непосредственные проявления сознания» и синдикализм! И хотя речь вовсе не идет о причудах, все же трудно подавить улыбку, когда слышишь о «приложении идей Бергсона к теории всеобщей забастовки»[186].

К списку мыслителей, чьи учения произвели на г-на Сореля впечатление, можно было бы также добавить Дарвина, Ницше и Э. Гартмана. Эта любопытная амальгама идей, прошедшая через интеллектуальную лабораторию г-на Сореля, образует некое целостное единство, ни на что не похожее и зачастую весьма любопытное.

Задаешься вопросом— особенно сегодня— почему всеобщая забастовка была выбрана г-ном Сорелем как самое четкое, к тому же единственно четкое выражение насилия? В целом почти вся его аргументация подошла бы, и даже гораздо лучше, к военному мятежу и гражданской войне. Такое ощущение, что над г-ном Сорелем довлел неудачный исход первой русской революции. Он дважды обращается к ней. Говоря о г-не Люсьене Эре, который в 1906 году, после убийства великого князя Сергея, предсказывал «неизбежный день» свержения Николая II с его трона убийцы, г-н Сорель с иронией добавляет: «Это пророчество не оправдалось; но великим пророчествам свойственно не оправдываться: трон убийцы прочнее, чем касса „Юманите” »[187].

«Гражданская война, — пишет он, — стала нелегким делом после изобретения духового ружья и открытия прямых дорог в метрополиях. Недавние события в России как бы даже показали, что правительства могут рассчитывать, в большей степени, чем можно было предположить, на энергичность офицерского состава: почти все французские политические деятели предсказывали немедленный крах царизма в момент поражений в Маньчжурии; но русская армия, перед лицом бунтов, не дала слабины, как в свое время французская армия перед лицом восставшего народа: репрессии почти везде прошли быстро, действенно и носили безжалостный характер. Дискуссии, имевшие место на социал-демократическом съезде в Иене, показывают, что парламентарии из числа социалистов не рассчитывают больше совсем на вооруженную борьбу с целью захвата государственной власти»[188].

Читатель согласится со мной в том, что г-н Сорель не слишком удачно сыронизировал по поводу относительной прочности тронов и газетных касс, как и по поводу возможностей гражданских войн. Петроград — европейская столица, возможно, с самыми прямыми проспектами. Однако дважды, в феврале и октябре 1917 года, военный мятеж одержал там верх над правительственными войсками с немыслимой легкостью[189].

Помимо этих двух удавшихся восстаний, я собственными глазами видел еще два, провалившихся: большевистский — в июле 1917 года, и мятеж левых социал-революционеров в июле 1918 года; у меня было ощущение, что и эти последние чуть было не закончились успешно. Только видевшие воочию могут судить о той огромной роли, которую играет во всем этом случай, и потому скептически воспринимают заявления ученых социологов, ищущих и находящих в исходе мятежей некие знаки «расстановки социальных сил». Создатели военной техники придумали пулеметы и броневики, и когда те, кто ими управляет, переходят на сторону мятежников, прямые дороги метрополий — далеко не преимущество для правящих кругов. Так, во всех тех восстаниях, которые мне довелось видеть, основные усилия пропагандистов были направлены на экипажи броневиков, и именно от этого зависел быстрый успех.

С появлением успешного опыта в мятежах я задаюсь вопросом: отчего бы г-ну Сорелю не издать теперь заново свои «Размышления», отчего бы ему не оставить идею забастовки, которая себя не оправдала, и не создать мифологию вооруженной гражданской войны?

Я не шучу. Я хочу сказать этим, что всеобщая забастовка сама по себе не играет почти никакой роли в системе, выстроенной г-ном Жоржем Сорелем.

Не спорю: «нормальное развитие забастовок» «в значительной мере сопровождается насилием», что поддерживает революционный синдикализм. И это сопровождение как-то особенно влияет на размышления г-на Сореля, особенно когда речь заходит о буржуа, расположенных делать добро для своих рабочих.

«Платить, — пишет он, — черной неблагодарностью за доброжелательство тех, кто не прочь защищать людей труда, отвечать бранью на красноречие поборников человеческого братства и встречать в штыки авансы проповедников социального мира — это, конечно же, идет вразрез с правилами светского социализма г-на и г-жи Жорж Ренар, но это очень практичный метод, способный указать буржуа на то, что им следует заниматься своим делом и только им.

Я считаю также весьма полезным поколотить ораторов демократии и представителей правительства, дабы ни один из них не питал иллюзий относительно насильственных действий, каковые только и могут обладать исторической ценностью, когда являются грубым и прозрачным выражением борьбы классов: нечего буржуазии воображать, что с помощью ловкости, социальной науки или большого чувства она будет лучше

воспринята пролетариатом.

В тот день, когда хозяева осознают, что ничего не выиграют с помощью благотворительных дел, направленных на социальный мир, либо с помощью демократии, они поймут, что люди, убедившие их оставить их ремесло создателей производительных сил ради благородного дела воспитателей пролетариата, — были им плохими советчиками. Тогда есть надежда, что они хоть частично обретут свою прежнюю энергичность и что умеренная или консервативная экономика покажется им столь же абсурдной, как и Марксу. В любом случае, при более четком разделении на классы, подъем масс будет иметь шансы свершаться с большей регулярностью, нежели это происходит сегодня[190].

Несомненно одно — Русская революция, обошедшаяся без пролетарской забастовки, во многом превзошла чаяния г-на Жоржа Сореля: «Отвечать бранью на красноречие поборников человеческого братства...» В России им отвечали не бранью: я видел в часовне Мариинской больницы в Петербурге окровавленные трупы Кокошкина и Шингарева[191], этих «проповедников социального мира». Не уверен, что г-н Сорель обрадовался бы, увидев собственными глазами результат «очень практичного метода, способного указать буржуа на то, что им следует заниматься своим делом и только им». Правда, метод этот на практике зашел дальше, чем, возможно, хотелось бы г-ну Сорелю. Но что делать: у людей из народа начисто отсутствует восприятие нюансов.

«Поколотить ораторов демократии и представителей правительства...» Русские пролетарии и солдаты не раз применили на практике эту рекомендацию философа, проповедующего насилие. Примеров столько, что я затрудняюсь с выбором. Так, мой коллега по партии Коровиченко, рупор демократии и представитель Временного правительства, был «поколочен» толпой, и даже скончался от этого в страшных мучениях. Неважно: ведь более четко выявилось «разделение на классы»[192].

Кажется неоспоримым, что революционное *насилие* выглядит гораздо более *импозантно*, чем насилие пролетарской забастовки. А поскольку опыт показал, что гражданская война вполне возможна в наше время, я не вижу, что остается от основного довода философа забастовочной мифологии.

Страницы этой столь неровной книги г-на Сореля, безусловно, одиозны, но вместе с тем и гротескны. Вроде бы Жорес сравнил однажды пролетариат со сверхчеловеком Ницше. Г-н Сорель открыто смеется над этим, да и то сказать, это не лучшее из откровений великого трибуна. Я бы все же заметил, что

интеллектуал XX века, желающий быть белокурой бестией, еще смешнее, чем пролетарий, вырядившийся сверхчеловеком. Г-ну Жоржу Сорелю вольно высмеивать «светский социализм г-на и г-жи Жорж Ренар», как и редингот г-на Вивиани (на с. 30), и прекрасные связи г-на Судекума, «самого элегантного мужчины в Берлине» (на с. 75). Вольно ему и самому не только облачаться в блузу пролетариата, но, если желает, и в кожу пантеры (хотя, может, он, как и все остальные, носит костюм), он все одно останется весьма ученым интеллектуалом. А ведь, по моему скромному мнению, человек, написавший несколько книг сам и прочитавший множество книг других авторов, осветивший в диссертации *историческую систему Ренана* и *Сократовы взгляды*, извлекший уроки революции из трудов Бергсона, становится просто посмешищем, когда пишет то, что я привел выше.

Самое же любопытное в том, что г-н Сорель считает своим долгом остановиться на полпути в своих смелых размышлениях. «Согласимся, — пишет он, — со сторонниками ненасильственных мер, что насилие способно мешать экономическому прогрессу и даже представлять опасность для нравственности, в том случае, когда оно переходит известную грань. Эта уступка не может быть противопоставлена изложенной выше доктрине, поскольку я рассматриваю насилие только с точки зрения его идеологических последствий. Очевидно, что для того, чтобы заставить трудящихся взглянуть на экономические конфликты как на предвестников великой битвы, которая определит будущее, нет необходимости во взрыве грубости и потоках крови. Если капиталистический класс выказывает себя энергично, он непрестанно утверждает свою волю защищаться; его в полном смысле реакционная позиция ведет, по меньшей мере, в той же степени, что и пролетарское насилие, к расколу между классами, что является основой всякого социализма»[193].

Довольно трудно понять, откуда происходит и где находится эта «известная грань», начиная с которой столь благодетельное насилие представляет опасность для экономического прогресса и «даже для нравственности». Нужно ли поколачивать ораторов демократии слегка, не причиняя им особой боли? Но в таком случае я боюсь, как бы автор «Размышлений о насилии» не навлек на себя со стороны своих адептов, в большей степени сорелевцев, чем он сам, страшного обвинения в «*гуманитарном отуплении*», и не был бы записан в «*блеющее стадо моралистов*»[194]. Однако я вижу, что насилие рассматривается им лишь «с точки зрения его идеологических последствий», особенно в том смысле, в каком понимал это слово Наполеон. Ведь было бы наивно полагать, что пролетариат удовольствуется тем, что скромными

насильственными мерами, «без потоков крови» заставит буржуазию занять в «полном смысле реакционную позицию». И потому, что это такое — идея *очищенного насилия*? Добрая шутка? Или, скорее, злая шутка? Позволю себе напомнить г-ну Сорелю великолепные слова, обнаруженные мною в другом месте в его же книге: «люди, обращающиеся к народам с революционным словом, обязаны подчиняться суровым законам искренности, *поскольку рабочие понижают это слово в прямом его смысле и не интерпретируют его, не понимают его иносказательно*»[195].

Когда перед в полном смысле грубым пролетариатом встанет во весь свой рост в полном смысле реакционная буржуазия, то-то будет радости г-ну Сорелю: как же, ведь четко обозначится «раскол между классами, основа всего социализма». Вот только непонятно: что же выйдет из этого благодетельного раскола? Здесь мы попадаем в область полнейшего агностицизма, однако все же более просматриваемого, чем тот, который исповедуют ортодоксальные марксисты. «Социализм — вещь весьма темная, поскольку зависит от производства, то есть от того, что есть наиболее непознаваемого в человеческой деятельности; он намерен привнести в эту область радикальные преобразования, не поддающиеся описанию с той ясностью, которая свойственна внешним характеристикам. Никаким усилием мысли, никаким прогрессом в сфере познаний, никакой здравой индукцией не снять покрова тайны, окутывающего социализм — оттого, что марксизм признал это в качестве отправной точки для исследований в области социализма»[196].

Это, конечно же, еще не Credo quia absurdum[197]. Однако на ум невольно приходят знаменитые страницы рассуждений Паскаля о доказательствах католической веры, стоит услышать то, что пишет ученик основателя «научного социализма». И если Маркс действительно как-то сказал, что «тот, кто составляет программу на будущее, — реакционер», его ученик, нахватавшийся бергсоновского духа, сделал по сравнению с ним шаг вперед: он не только не составляет программу, но думает, что следует «осмыслить переход от капитализма к социализму как катастрофу, чей процесс не поддается описанию»[198].

Что не поддается никакому пониманию, так это психологическая концепция будущего у Жоржа Сореля. Допустим, что переход от капитализма к социализму осуществляется раз и навсегда, в катастрофических условиях, ускользающих от человеческого разума. Но потом? Эти грубые силы ненависти и насилия, воспламененные, возбужденные грубой борьбой между пролетариями и буржуа — что будет с ними делать г-н Сорель после победы революции? Автор не дает ответа. Да и как он

может его дать? Его социологическая концепция, — он сам об этом говорит, — глубоко пессимистична! Так и нечего ожидать от него наивных благоглупостей об установлении рая на земле тотчас после свержения капиталистического строя. Но поскольку «раскол между классами», ныне так веселящий г-на Сореля, исчезнет с падением капитализма, — с этим согласится сам г-н де Ля Палис, — и в бесклассовом обществе не будет места забастовкам, куда же все-таки, черт возьми, подевается насилие? Какая иная мифология заступит на место отжившей мифологии о пролетарской забастовке? Блеющее стадо моралистов заявляет, что человеческое насилие имеет тенденцию мало-помалу идти на спад, в чем, вполне возможно, это самое стадо ошибается. Да и гуманитарные тупицы с их «вульгарной глупостью»[199] очень далеки от проповеди насилия и мифологии пролетарской забастовки. Однако полагать, что вековое насилие, накопившееся, разросшееся, возбужденное, как того желали бы синдикалисты, вдруг возьмет да и исчезнет после полной загадочности катастрофы перехода от капитализма к социализму, — с психологической точки зрения, последняя глупость. Возможно, правда, что для г-на Сореля она вовсе не последняя. Какой же ответ он мог бы дать на этот вопрос? Или же все тот же спасительный агностицизм избавляет его от необходимости отвечать что-либо?

Поскольку всеобщая забастовка для г-на Сореля всего лишь миф, я воздержусь от того, чтобы анализировать этот вопрос в теоретическом плане, как обычно делают критики синдикализма. Я лишь отмечу, что в русской и немецкой революциях пролетарская забастовка, как и всеобщая забастовка, почти не имела никакого значения, по той простой причине, что обе революции были по преимуществу осуществлены солдатами (а не рабочими). Этот факт — неожиданный для г-на Сореля, как, впрочем, и для большинства социалистов.

Напротив, г-н Жорж Сорель сумел прекрасно предвидеть, какой характер будут носить правительственные меры уже победившей революции. «Опыт, — пишет он, — всегда до сих пор показывал нам, что наши революционеры ссылаются на государственные интересы, стоит им прийти к власти, что они применяют полицейские методы и относятся к справедливости, как к оружию, которым можно злоупотреблять в борьбе против врагов»[200]. «Ежели случайно наши парламентские социалисты пришли бы к власти, они проявили бы себя верными последователями Святой Инквизиции, Старого режима и Робеспьера; трибуналы работали бы с размахом; мы даже можем предположить, что был бы упразднен неудачный закон 1848 года,

запретивший смертную казнь для инакомыслящих. Благодаря этой реформе можно было бы снова увидеть победу Государства, осуществленную руками палача»[201].

Не знаю, можно ли отнести Ленина и Троцкого к разряду «парламентских социалистов», к которым г-н Сорель столь беспощаден, но признаю, что эти мрачные предсказания, пессимистический характер которых мог бы показаться преувеличенным до большевистской революции, даже не дотягивают до происходящего на самом деле. Практика Святой Инквизиции, Старого режима и Робеспьера воссоздана большевиками в буквальном смысле слова. Что до политических трибуналов, Ленин избежал их — его врагов расстреливают без суда и следствия, что гораздо проще. По той же причине не пришлось упразднять неудачные законы, запрещавшие смертную казнь: действует закон или упразднен — неважно, ведь это «буржуазный предрассудок», который вообще никого сегодня больше не волнует.

Г-н Сорель, впрочем, считал, что война, «пролетарское насилие» которой, согласно его воззрениям, является образцом такового, — превзошла мелочные и преступные методы «парламентских социалистов», пришедших к власти: «Все, что касается войны, происходит без ненависти и без мстительного духа». Я далек от того, чтобы оспаривать справедливость сравнения пролетарского насилия и резни на войне, но скажу, что г-н Сорель не был очевидцем войн прошлого, не предвидел характера той бойни, свидетелями которой мы только что были, и чьим наследником — столь же одиозным, сколь и закономерным — является большевизм.

Государственная деятельность Ленина насквозь проникнута верой Сореля в насилие и его благородное воздействие на общество. Их мировоззрения совпадают не по одному вопросу, а по множеству. Так, вопрос о государстве поставлен в «Размышлениях о насилии» следующим образом: «Синдикалисты не предполагают реформировать государство, как собирались это сделать люди, жившие в XVIII веке; они желали бы разрушить его, ибо их цель — реализовать идею Маркса о том, что социалистическая революция не должна привести к замене правящего меньшинства другим меньшинством».

Ленин, заявляющий о том, что правит государством от имени большинства рабочих и крестьян[202] (выборы в Учредительное собрание и в муниципальные образования ничего не доказывают, не правда ли?), придерживается абсолютно такой же точки зрения и видит, по крайней мере в определенный момент, свою задачу в постоянном и систематическом разрушении: «Бывают

исторические моменты, когда для успеха революции всего важнее накопить побольше обломков, т. е. взорвать побольше старых учреждений...»[203] С этой задачей он справляется лучше нельзя. Так хорошо, что, когда ему вздумалось поставить на повестку дня «прозаическую» (для мелкобуржуазного революционера «скучную») «работу расчистки почвы от обломков», он нисколько не преуспел. Никогда еще власть не носила такого абсолютного характера, как при большевиках, да ведь большевистская Россия еще и не была государством. «Ибо эти мощные тела трудно поднять, коль скоро они были подкошены, или хотя бы удержать, коль скоро их покачнули, а падение их не может не быть слишком страшным»[204].

А вот еще одна очень характерная для Сореля мысль, пришедшаяся Ленину ко двору: «Можно сказать, что великая опасность, угрожающая синдикализму, будет таиться в любой попытке имитировать демократию; для него лучше уметь удовольствоваться в продолжение некоторого времени слабыми и хаотичными организациями, чем пасть под ударом профсоюзов, копирующих политические формы, существовавшие при буржуазном строе»[205]. А вот что мы читаем в большой речи Ленина на Всероссийском съезде Советов народного хозяйства, прошедшем в мае 1918 года в Москве: «Существует мелкобуржуазная тенденция превращения членов Советов в „парламентариев" или, с другой стороны, в бюрократов. Нужно бороться с этим»[206].

Впрочем, в плане интеллектуальном эти два человека не схожи. Мышление г-на Сореля, несмотря на противоречивость и непоследовательность, несомненно, интереснее, оригинальнее и не так однозначно. Возможно, оттого, что он обладает большой эрудицией. Правда, он порой упражняется в том же, что и Ленин, а именно: клеймит «буржуазную науку». Однако задача эта весьма неблагодарная для литератора, который на каждой странице по два-три раза обращается к источникам, 90% которых вовсе не социалистические труды. Ленину гораздо лучше удается поносить капиталистическую науку: в своих политических трудах он почти не цитирует других. А если и цитирует, то для того, чтобы заявить (да не услышит меня г-н Сорель!), что Бергсон — буржуа и «клерикал».

Что до практических дел русских большевиков, то оценку им можно почерпнуть во фрагменте, правда, несколько великоватом, из книги все того же Сореля:

«Я привлек внимание к опасности, которую представляют для будущего цивилизации революции, имеющие место в эру экономического упадка; все марксисты, кажется, не отдают себе

отчета в том, что думал по этому поводу Маркс. Он считал, что великой катастрофе будет предшествовать великий экономический кризис, однако не следует смешивать кризисы, о которых ведет речь Маркс, и полный экономический крах: кризисы представлялись ему итогом слишком смелой производственной авантюры, создавшей непропорционально развитые производительные силы, не поддающиеся методам регулирования, которыми владел в ту пору капиталистический строй. Такая авантюра предполагает, что будущее увиделось открытым самым могущественным предприятиям и что понятие экономического прогресса довлело надо всем остальным в ту или иную эпоху. Для того, чтобы средние классы, которые еще способны найти при капиталистическом строе условия для существования, могли присоединиться к пролетариату, нужно, чтобы производство в будущем было способно показаться им столь же заманчивым, как когда-то завоевание Америки — английским крестьянам, покинувшим старую Европу и пустившимся в полный приключений путь».

Следовательно, вопрос ставится так: являет ли современная Европа (без России), со своими долгами в сотни миллиардов, со своими сожженными городами, со своими истощившимися запасами, со своими потопленными флотами, со своей молодежью, покалеченной или просто оставшейся лежать на поле брани, — так вот, являет ли она в этот выбранный Лениным исторический момент заманчивый экономический облик, о котором пишет в своих «Размышлениях о насилии» Сорель?

Глава IV СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬШЕВИЗМА

В предыдущих главах мы ознакомились с генезисом большевистской доктрины. Встает вопрос: как эта смесь из столь разнородных составляющих — марксизма, анархизма и синдикализма, как эта абсурдная доктрина смогла восторжествовать в России?

Разумеется, речь не идет об окончательном и даже о сколь-нибудь продолжительном торжестве большевизма. Ленин предугадал и возглавил один из отрезков русской революции, как Керенский предугадал и возглавил другой, более короткий отрезок, хотя и более замечательный. Но было бы смешно и неразумно делать гения из Ленина, как и из Керенского.

Что до социальной основы русской революции, я скажу так: на ленинском отрезке это не был пролетариат, так же как на отрезке Милюкова это не была буржуазия. Самая характерная

черта русской революции — ее военный характер, та роль, которую в ней сыграли солдаты, матросы, красноармейцы, которые, что одни, что другие, принадлежали к различным классам[207].

В этом ее очень большое отличие от Французской революции, которая явилась прежде всего гражданским делом, как окрестил ее Жорес.

Георгий Плеханов, один из основателей социалистической демократической партии России, в 1889 году на международном Социалистическом съезде в Париже сказал: «Русское революционное движение восторжествует как рабочее движение или не восторжествует вовсе». В последние годы своей жизни (он умер в 1918 году) он рассматривал это давнее предсказание как осуществившееся и часто с удовольствием вспоминал о нем. Имел ли он на это право? Не думаю.

Русская революция победила прежде всего как солдатское движение, лишь небольшая часть которого состояла из рабочего класса. Без солдат, жаждавших установления мира, царское правительство легко бы справилось в феврале 1917 года с рабочими беспорядками и интеллигентской агитацией, как это было в 1905— 1906 годах. Русская революция и поныне не утратила своего военного характера.

Другой фактор, еще более мощный, но гораздо менее подвижный в силу своей мощи, — крестьянство. Этот фактор в определенной степени неотделим от первого, поскольку солдаты в большинстве своем были выходцами из крестьянской среды. Русская революция наряду с военной стороной имеет еще и аграрную сторону, а именно — стремление к перераспределению помещичьей собственности среди крестьян.

Есть и другие факторы русской революции: бунт интеллигенции против деспотизма, бунт рабочих против капиталистов, бунт угнетенных наций против централизма власти и националистической политики, — весьма немалых[208], — но все они имели гораздо меньшее влияние на судьбу России, чем солдатский и крестьянский факторы.

В конце 1917 года я резюмировал эту мысль следующим образом: «Россия будет, вероятно, принадлежать людям, которые сумеют дать крестьянину то, что ему нужно. Крестьянству же нужны три вещи: мир, земля и порядок. Он их и получит именно в этой последовательности. Вопрос, от кого»[209].

Ныне у крестьян есть земля. Вместо справедливого законного и упорядоченного распределения земельной собственности, которой желали добиться цивилизованные социалисты посредством Учредительного собрания, произошло хаотическое и

глупое распределение в результате победы большевиков. Земля перешла к тем из крестьян, у кого достало силы завладеть ею или с помощью водки и денег купить у комиссаров и комитетов бедноты. Однако что сделано, то сделано. Сегодня земля поделена среди миллионов новых собственников, и каким бы глупым ни был этот передел, маловероятно, чтобы нынешние владельцы позволили учинить в будущем новый. Следует опасаться того, чтобы любому следующему правительству не пришлось примириться со свершившимся фактом.

Что до порядка и мира — крестьяне их не получили: на смену войне отечественной пришла война гражданская со всеми ее ужасами, десятью фронтами вместо одного, да и тот находится не на границе с Германией, Галицией или Арменией, а в самой России.

Порядок заменен хаосом. А сверх того — страшная нехватка самого необходимого.

И с этим большевики уже ничего поделать не могут. В качестве социальной опоры у них лишь армия чиновников и комиссаров, которых они кормят и обогащают. Армия эта огромная, и сбрасывать ее со счетов нельзя, но все же этого недостаточно.

И по этой причине нет никакого сомнения, что большевизм пребывает в агонии, которая способна затянуться, однако по-прежнему будет агонией, и ничем иным. Каким образом произойдет его крах? То ли объединят свои усилия такие мелкие государства, как Польша, Финляндия, Румыния, и в некий момент окончательно нарушат баланс сил, существующий теперь, сместив его в сторону антибольшевистских армий Колчака и Деникина? То ли поднимется солдатский бунт, бунт красноармейцев, насильно завербованных на военную службу, а на деле желающих мира, бунт, подобный тому, который в три дня снес вековой трон Романовых? То ли наступит окончательный и бесповоротный *психологический* слом? То ли террористическая конспиративная работа положит конец существованию большевистских лидеров (их, как известно, не так много)? Очевидно одно — неизбежное падение большевиков докажет ясно, как Божий день, что у них, так же как и у царизма, не было никакой серьезной опоры в народе, с *их* полицией, *их* комиссарами и *их* красноармейцами. Они будут утоплены — увы! — в потоках крови...

Рабочие! Сколько их сегодня в России, где не функционируют ни заводы, ни шахты? И сколько среди них большевиков? У русских рабочих был период увлечения большевизмом, какой у французских рабочих наблюдается ныне. Но для первых

большевизм — это не настоящее, а прошлое, хотя, как знать, возможно, и будущее.

Я не обольщаюсь: отвращение, ненависть— вполне заслуженные, — которые сегодня внушают большевики, не будут ни вечными, ни сколько-нибудь длительными. Я, впрочем, убежден: многие из тех, кто возьмут над большевиками верх, сделают так, чтобы это отвращение поскорее прошло. Реакционеры реабилитируют большевиков в глазах невежд, заставив тех мало-помалу забыть о «радостях», что исходили от Чрезвычайной Комиссии, и о «благотворительных» делах народных комиссаров. В России невежд хватает. Да и во всем мире будет сложена героическая легенда во славу комиссаров в шлемах.

И все же дни или, скорее, месяцы большевиков нынешних сочтены. Единственное, что могло бы их спасти — или нет, не спасти, а продлить их существование, — это коммунистическая революция в Европе.

Возможна ли такая революция в настоящий момент? Я достаточно настаивал на том, что не существует никакой экономической или нравственной основы для воцарения коллективистского режима, в связи с той нищетой и глубокой испорченностью, в которые погрузила человечество величайшая из войн. Не может идти и речи об успешной социальной революции. Однако бесспорно существуют психологическая и социальная предпосылки для попытки осуществить революционный переворот (заранее обреченный на неудачу), поскольку ныне насчитывается огромное количество разорившихся, недовольных, отчаявшихся, изголодавшихся по нормальной жизни и справедливости *неудачников*, чьи судьбы не сложились из-за войны, авантюристов всех мастей, желающих поучаствовать в резне и т. п. Ситуация является революционной оттого, что Европа скрипит под грузом десятка национальных кризисов, двух десятков политических кризисов и одного общего для всех кризиса производства. Даже если она рухнет, коммунистическому режиму не восторжествовать. Попытка «великой смуты», даже если она и произойдет, будет ликвидирована, в конце концов, сторонниками порядка (в числе коих все французское крестьянство) и голодом, к которому она непременно приведет. Произойдет ли это в скором времени, как в Германии после первого мятежа, поднятого спартаковцами? Потребуется ли больше времени? Не знаю. Но убежден, насколько это возможно в политике: подобная попытка не увенчается успехом.

Меня поражает один любопытный факт. Те, кто ныне

проповедуют социальную революцию, не всегда искренне ее желают. Скольких социалистов пришлось мне повидать во Франции и Англии, которые в своих газетах пишут статьи, заигрывая с большевиками, а в частных беседах не скрывают чувства глубокого омерзения перед методами Москвы. «Что вы хотите, — отвечают они, — у французских рабочих — большевистский период развития, а мы их возглавляем, нужно подлаживаться». Подлаживаться сейчас, когда у власти во Франции и Англии г-да Клемансо и Бонар Лоу, — куда ни шло. Однако разразись революция — и все быстро изменится в худшую сторону. Те, кто подстраивается под большевиков, будут быстро подхвачены и унесены потоком: ни г-ну Леону Блюму, ни даже г-ну Лонге[210] не стать во Франции тем, кем являются в России Ленин и Троцкий. Тот, кто подыгрывает большевикам, всегда натолкнется на такого большевика, который потеснит его и займет его место.

Подхожу к тому, что такое в наши дни коммунистическое учение. «Юманите» опубликовала[211] доклад, представленный Лениным в марте 1919 года на съезде Третьего Интернационала в Москве. «Это документ большой важности, — пишет «Юманите», — в котором выдающимся теоретик, каким является Ленин, зафиксировал в форме предложений свои мысли по поводу спорного вопроса о диктатуре пролетариата и буржуазной демократии». Этот документ и впрямь представляет интерес. «Выдающийся» или нет, но Ленин, бесспорно, — единственный теоретик большевистского учения. У большевизма есть свои ораторы — Троцкий и Зиновьев, свои литераторы — Луначарский, Каменев, Воровский, Стеклов, свои бизнесмены — Красин, свои иконы, наконец, — Максим Горький; но лишь один теоретик и мыслитель — Ленин[212]. А ведь его подпись, стоящая под этим документом, так же как и торжественный характер, который приобрело его обнародование на съезде Третьего Интернационала, где были представлены все нации, кажется, даже индусы и патагонцы[213], — придают ему исключительную важность. Мы вольны видеть в нем самое современное на сегодня изложение сути, так сказать, «последний крик» большевистской доктрины.

Вначале Ленин утверждает, что говорить о «демократии вообще», о «диктатуре вообще», «не ставя вопроса о том, о каком классе идет речь», — «есть прямое издевательство над основным учением социализма, именно учением о классовой борьбе»[214]. Отчего всеобщее избирательное право, дающее равные шансы de jure и почти равные de facto пролетариям, буржуа и крестьянам, когда речь заходит об изменении общества законным путем,

является нормой *буржуазной* демократии, Ленин не объясняет. Для него это аксиома, которую он основывает на авторитете Карла Маркса (что могло бы стать предметом дискуссии) и на историческом опыте коммуны.

«Парижская Коммуна, которую на словах чествуют все, желающие слыть социалистами, ибо они знают, что рабочие массы горячо и искренне сочувствуют ей, показала особенно наглядно историческую условность и ограниченную ценность буржуазного парламентаризма и буржуазной демократии — учреждений, в высокой степени прогрессивных по сравнению со Средневековьем, но неизбежно требующих коренной перемены в эпоху пролетарской революции. Именно Маркс, который лучше всех оценил историческое значение Коммуны, анализируя ее, показал эксплуататорский характер буржуазной демократии и буржуазного парламентаризма, когда угнетенные классы получают право один раз в несколько лет решать, какой представитель имущих классов будет „представлять и подавлять” (ver- und zertreten) народ в парламенте. Как раз теперь, когда советское движение, охватывая весь мир, на глазах у всех продолжает дело Коммуны, изменники социализма забывают конкретный опыт и конкретные уроки Парижской Коммуны, повторяя старый буржуазный хлам о „демократии вообще”. Коммуна не была парламентским учреждением»[215].

Какой восторг по поводу Парижской Коммуны, не правда ли? А вот что тот же Ленин писал о той же Коммуне четырнадцать лет назад: «...в истории под этим именем известно такое рабочее правительство, которое не умело и не могло тогда различить элементов демократического и социалистического переворота, которое смешивало задачи борьбы за республику с задачами борьбы за социализм, которое не сумело решить задачи энергичного военного наступления на Версаль, которое ошибочно не захватило французского банка и т.д. Одним словом, — сошлетесь ли вы в своем ответе на Парижскую или на какую иную коммуну, ваш ответ будет: это было такое правительство, каким *наше быть не должно*!»[216]

Что же такое советское правительство? Правительство, вдохновляющееся примером Коммуны, чтобы нарочно не походить на нее, как того желал Ленин в 1905 году? Или, напротив, правительство, которое «на глазах у всех продолжает дело Коммуны», как о том заявляет Ленин в 1919 году?

Ни в одном другом вопросе лицемерие большевиков так явно не бросается в глаза, как по этому вопросу о «форме правления». Они сами долгие годы прославляли идею Учредительного собрания. Мы уже видели, как поддержал Ленин эту мысль в

своей книге «Две тактики социал-демократии». Нам известно, что в резолюции по Первому съезду большевиков (Лондонскому, в мае 1905 года), продиктованной Лениным, во 2-м параграфе заявлено о необходимости создать «в результате победоносного народного восстания», «революционное правительство, единственно способное обеспечить полную свободу предвыборной агитации и созвать, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайной подачей голосов, учредительное собрание, действительно выражающее волю народа»[217]. Со своей стороны, Троцкий также опубликовал несколько брошюр, в которых требовал с не меньшей силой созыва Учредительного собрания. И пусть не говорят: мол, все это было до войны, когда проблемы были иного рода. В 1917 году большевики также не переставали заявлять о необходимости созыва Учредительного собрания. Преступление, которое они с чрезвычайной пылкостью вменяли в вину Временному правительству князя Львова и г-на Керенского, — состояло как раз в том, что те якобы «саботируют» созыв Учредительного собрания и под всеми возможными предлогами откладывают всеобщие выборы[218]. От идеи Советов не отказывались, но в то же время требовали немедленного созыва Учредиловки[219].

И лишь к концу 1917 года, когда явно антибольшевистские результаты выборов — хотя режим был уже советский — под самым грубым давлением стали вырисовываться, пресса предприняла кампанию— сперва осторожную и коварную— в меньшей степени против самого принципа Учредительного собрания, чем против данного Учредительного собрания. Большевики прощупывали почву, они не знали, пойдет ли за ними народ. Затем мало-помалу осмелели.

Становилось ясно, что народ слишком устал, чтобы встречать в штыки хоть что-либо. Преторианские полки Петрограда, подкупленные обещанием не быть посланными на фронт, находились в их подчинении. Большая часть армии желала мира и была готова принять все от тех, кто обещал ей мир любой ценой. Ленин пошел ва-банк: Учредительное собрание было грубейшим образом разогнано. Матрос Железняков стал Бонапартом этого коммунистического «18-го брюмера». И тотчас нашлись аргументы, или скорее аксиомы теоретического плана против принципа всеобщего избирательного права. Ныне, когда у большевиков все резоны думать, что народ их ненавидит, что выборы, основанные на всеобщем избирательном праве, получили бы по всей России огромное, подавляющее большинство, эти теоретические размышления не оставляют даже шанса сомневаться в их верности: в 21-м параграфе знаменитого

доклада Ленин умышленно говорит: «Учредительное собрание, то есть диктатура буржуазии».

Ныне есть лишь Советы, говорят лишь о них, божатся лишь ими. Слову и идее повезло: все языки мира приняли слово, все почитатели большевизма приняли идею. Кто же ее автор? Ленин? Ничуть не бывало[220]. Автор ее — небезызвестный Парвус. Он и сам напоминает об этом в статье, появившейся в ноябре 1918 года в «Мюнхен Пост». В те годы Ленин был враждебно настроен по отношению к этой меньшевистской выдумке. Против него были направлены следующие идеи Парвуса: 1) что рабочие и солдаты будут по-настоящему преданы революции только в тот день, когда сами станут руководить происходящим; 2) что тем самым интересы пролетариата станут безусловно доминирующими в революции; 3) что тогда, наконец, революция поднимется над ссорами различных фракций и духом сектантства[221].

Хотелось бы все же расставить всё по своим местам. Вовсе не Ленин бросил эту великую революционную идею — Советы, почти завоевавшую мир, в массы, а Парвус. Именно Парвус — султан Вильгельма II, Парвус - спекулянт, Парвус — нагревший руки на войне[222], наконец Парвус — создатель знаменитой теории, по которой Германия, с социалистической точки зрения, имела право на победу, оттого что обладала самым мощным рабочим классом и самой развитой промышленностью.

Разумеется, это не содержит никаких противопоказаний в отношении самой идеи. Как и в отношении Ленина: что из того, на самом деле, что он радикально поменял мнение, если он искренне поверил в Советы в какой-то момент, как до того поверил в Учредительное собрание? Дело-то в том, что он никогда искренне не верил ни в одно, ни в другое. Это очередной пример для тех, кто восхищается как Лениным, так и идеей Советов. Я знаю это из одного источника, который надеюсь, не вызывает подозрений, — это биография Ленина в изложении г-на Зиновьева. Этот коммунист излагает, не задумываясь, как это обернется для его учителя и друга, ленинские идеи после краха первой попытки государственного переворота в июле 1917 года: «Мы пережили время, когда казалось, что все погибло. Товарищ Ленин на минуту усомнился даже, чтобы Советы, развращенные соглашателями[223], смогли сыграть решающую роль. И он давал лозунг, что нам придется, быть может, брать власть помимо Советов»[224].

Как же благодарны мы г-ну Зиновьеву за то, что он просветил нас на эту тему. Ах, эти «принципы» самозванцев! Всеобщее избирательное право устраивает их, пока есть надежда, что большинство избирателей на стороне большевиков. Стоит им

заметить, что Учредительное собрание настроено антибольшевистски, к черту всеобщее избирательное право и да здравствуют Советы. Однако если вдруг выяснится, что Советы тоже «заражены» антибольшевистскими настроениями, как тут же последует приказ захватить власть «вне Советов», и тогда годится любое: диктатура большевистского Комитета, диктатура Ленина и невесть что еще; и все подпевалы в мире тотчас примут это любое «на ура». Вот и вся недолга.

Ясно, как Божий день, что Ленин хотел завоевать власть любой ценой, чтобы осуществить свою опасную манию, толкающую его на социальные эксперименты. Все эти пресловутые принципы, которые изучаются кое-кем в Европе с восторженным вниманием, все эти положения, предложения, параграфы (в этом ему нет равных) были не более чем предлогами, созданными ad hoc[225] и не более того.

Впрочем, Ленин быстро отдал себе отчет в том, что, вместо того чтобы обойтись без Советов, удобнее фальсифицировать волеизъявление народа даже в этой пародии на идеальную демократию.

Русские, коим довелось пожить при Советской власти, не могут удержаться от смеха, читая конституцию (основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, принятую на Пятом съезде Советов (10 июля 1918). Дело не только в том, что документ этот из рук вон плохо и претенциозно написан, лишен какой-либо последовательности и логики и самой формой свидетельствует о полном отсутствии юридического образования авторов. Логика— старый буржуазный предрассудок; что же до всеобщего образования, пролетарские главари еще им не обладают[226], об этом и речи не идет. Невольно становится смешно, стоит подумать о расхождении с действительностью всех этих разделов, глав и параграфов, которые появились на свет усилиями невежественных и претенциозных самоучек[227]. Нужно и впрямь обладать чрезвычайной неосмотрительностью, чтобы заявлять, что члены Советов избраны населением, ибо никогда испокон веков мир не видывал такой циничной пародии на выборы: одного этого было бы довольно, чтобы никакая свобода слова не существовала в Советской России ни для кого, кроме большевиков. Но дела обстоят еще хуже: угрозы, шантаж, террор, фальсификация итогов голосования, назначение сверху народных избранников — вот что такое на деле выборы в «Российской Социалистической Федеративной Советской Республике». Члены Советов избраны, но комитетами большевиков.

Впрочем, большевики этого даже не скрывают или скрывают

очень плохо. Вот какая формулировка была принята ими на съезде Третьего Интернационала:

«На основании этих тезисов и докладов делегатов различных стран Съезд Коммунистического Интернационала заявляет, что главная задача коммунистических партий во всех странах, где еще не существует Советской власти, заключается в следующем:

Объяснение широким массам рабочего класса исторического значения, политической и исторической необходимости новой, пролетарской, демократии, которая должна быть поставлена на место буржуазной демократии и парламентаризма.

Распространение и организация Советов среди рабочих всех отраслей промышленности и среди солдат армии и флота, а также среди батраков и бедных крестьян.

Основание внутри Советов прочного коммунистического большинства»[228].

Человек наивный непременно задаст вопрос: как можно обеспечить «прочное большинство», коль скоро выборы свободные? Мы, бывшие свидетелями таких выборов, вопросов не задаем. Мы прекрасно знаем, как обеспечивается это большинство. Поскольку речь у нас идет о серьезных вещах, нечего уделять много внимания этой, с позволения сказать, Конституции. Однако как диковинку позвольте преподнести вам несколько слов из параграфа 65 главы XIII раздела IV. Параграф этот предписывает:

«65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий:

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;

б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;

г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;

д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома;

е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;

ж) лица, осужденные за корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или судебным приговором»[229].

На радость юристам, добавлю, что в предыдущем параграфе

(64) детально, но согласно иной схеме перечисляются те, кто имеет право избирать и быть избранными в Советы. Так что читателю не следует удивляться, например, тому, что в параграфе 65, среди тех, кто не может ни избирать, ни быть избранным, он обнаружит умалишенных и лиц, состоящих под опекой, и не обнаружит детей: в предыдущем параграфе нарочно указано:

«Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т. п., следующие обоего пола граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, коим ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет» (Примечание 1. Местные Советы могут с утверждения Центральной власти понижать установленную в настоящей статье возрастную норму)»[230].

Эта глава XIII «Избирательного права» с многочисленными «и т, д.» настолько ловко составлена, что если бы Конституция со всеми своими параграфами, включая параграфы 64 и 65, не была шуткой, правящие органы должны были бы обладать поистине недюжинными способностями, чтобы определить, кто из граждан РСФСР обладает избирательным правом, а кто нет.

Процитировав самые вопиющие глупости этих двух параграфов, я ограничусь лишь следующим: известно, что все промышленные предприятия России были национализированы. Несмотря на это, пункт в параграфа 65 лишает избирательного права тех, кто живет на доходы с предприятий. Торговля также была национализирована (разумеется, на бумаге). Однако в пункте с говорится о частных торговцах, торговых и коммерческих посредниках. Также лишены избирательного права, в числе тех, кто живет нетрудовым доходом, лица, живущие доходами с поступлений с имущества. О ком идет речь в данном случае? Ведь «национализированная» земля сегодня в руках крестьян. Каким считать доход крестьянина, трудящегося со своей семьей на пятидесяти гектарах «национализированной» земли — полученным в результате труда или обладания имуществом? Есть избирательное право у крестьянина или нет?

Впрочем, если задаться целью перебирать все глупости Конституции, то можно просто ткнуть пальцем в любой параграф. Я остановился на этом оттого, что меня поразило: если и вправду применять основной закон на практике, чуть не все большевики разом лишатся избирательного права, поскольку подавляющее их число подходит под категорию лиц, перечисленных в пунктах а, б, в, г, е, д, ж 65 параграфа, не считая той части пункта д, в которой говорится о членах бывшей правящей династии. Известно, насколько многочисленна армия ловцов рыбки в мутной воле,

обделывающих свои делишки под прикрытием большевистского флага: подобные советские чиновники нажили себе огромные состояния, которым позавидовал бы бедняга Бела Кун, который всего-то и унес, что пять миллионов крон. «Преступления с целью обогащения» — также не редкость в Советской России; правда, на тысячу виновных приходится один осужденный за свои дела[231]. Кто еще там упомянут? Служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений? Да ими просто-напросто кишат большевистские круги, всем это известно, сами комиссары множество раз признавались в существовании этой заразы, «грызущей цвет коммунистической организации». Умалишенные? Сколько угодно, и прежде всего садисты. Кто станет утверждать, что, к примеру, Петерс — нормальный человек? А монахи? Иные большевики (может, это лучшие из лучших) обладают психологией и духом монашества[232]. Да и сам Ленин, живи он несколькими веками раньше, наверняка принадлежал бы к иезуитам, кабы не примкнул к Кампанелле или Савонароле[233].

Диктатура пролетариата, чьим юридическим воплощением желают сделать эту Конституцию, — одна из идей Маркса.

О ней говорится в нескольких работах юного Карла Маркса, с этим не поспоришь. Правда, были попытки правых марксистов, таких как г-н Акимов, к примеру, приглушить смысл этой идеи у Маркса[234]. Г-н Акимов попытался показать, что Маркс понимал под диктатурой пролетариата демократическое правительство.

Его аргументы не лишены здравого смысла. Он показывает, что Коммуна, в которой Маркс и Энгельс усматривали одну из форм диктатуры пролетариата, была на деле формой правления, вышедшей из всеобщего избирательного права, применяемого в Парижском регионе. Он напоминает, как Маркс в «Гражданской войне во Франции» и в «18 брюмера» упрекал буржуазию в отказе от всеобщего избирательного права, в создании тем самым «парламента узурпаторского класса». Также он пишет о том, что диктатура пролетариата никогда не значилась прежде ни в одной программе западных марксистских социалистических партий. Эрфуртская, Венская программы, программы социалистических партий Бельгии, Швеции, Италии, устав Интернационала не содержат такого положения. Русская социал-демократическая партия впервые внесла его в свою программу.

Г-н Акимов заимствует у Маркса описание и характеристику диктатуры буржуазии (которая, — заметим, — во многом была превзойдена в современной России по безобразию) и справедливо задается вопросом: «Это — диктатура! Эта такая власть, которой добивается пролетариат? Неужели достаточно здесь вместо слова

„буржуазия” поставить слово „пролетариат”, а вместо „пролетариат” — „буржуазия” и получится наш идеальный общественный строй?»[235]

Впрочем, я уже имел случай сказать, что для нас вопрос: был Карл Маркс или не был сторонником диктатуры пролетариата, не столь важен, это ничего не прибавляет и ничего не убавляет в отношении значения этой политической концепции, чью ничтожность доказал эксперимент, поставленный в России.

Русский эксперимент явил миру прежде всего то, что диктатура пролетариата — в реальности диктатура, установленная над пролетариатом. Никогда ни один парламент не вел себя более безвольно, омерзительно и не был лишен всяческого достоинства, нежели рабоче-солдатские комитеты перед лицом большевистских лидеров. Достаточно вспомнить, что Центральный Совет бурей аплодисментов приветствовал весть о подписании нечестного Брест-Литовского мира, что спровоцировало протесты даже со стороны народных комиссаров. Насколько мало большевистские вожаки считаются со своим парламентом, известно. Такое состояние народных избранников связано, с одной стороны, со степенью интеллектуального развития рабочего класса, а с другой — с системой выборов, речь о которой шла выше.

Эдуард Бернштейн сказал двадцать лет тому назад[236], что при нынешнем состоянии интеллектуальной культуры и нравственной независимости рабочего класса диктатура пролетариата не способна стать ничем иным, кроме как митинговой диктатурой или диктатурой литературных ораторов. Это замечание, сделанное до проведения опыта наших дней, свидетельствует, безусловно, о большой прозорливости. Мы, нынешние, увидевшие воочию диктатуру «пролетариата», пожившие под ней, можем пойти в своих выводах дальше. На наш взгляд, замечание г-на Бернштейна оправдалось в России только в отношении крупных городов, таких как Москва и Петроград. В провинции и в деревнях диктатура пролетариата— чаще всего диктатура бандитов худшего пошиба. Самые разнузданные элементы населения: разбойники, воры, бездельники, пьяницы поднялись на поверхность и терроризируют крестьян, рабочих, добропорядочных мелких буржуа, верша такие кошмарные дела, которые дожидаются того, чтобы их описал новый Достоевский. Диктатура митинговых ораторов больших городов, диктатура разбойников в деревнях и провинции, сочетание этих двух диктатур в городах среднего размера (так же как и в некоторых центральных учреждениях, таких как известная всем Чрезвычайная Комиссия) — вот что такое на деле диктатура

пролетариата.

Вполне возможно, что опыт, подобный нашему, будучи поставленным в самых культурных западных странах, отличался бы ненамного.

И потому мы считаем, что любая социалистическая партия, стремящаяся заменить демагогические формулировки четкими и справедливыми идеями, должна поставить на повестку дня вопрос о диктатуре пролетариата и раз и навсегда покончить с этой неудачной концепцией. В России социалистическая партия лейбористского типа поступила так намеренно и с большой определенностью, заявив, что не признает никакой диктатуры, ни пролетариата, никакой иной. Социалистическим партиям Запада стоило бы последовать этому примеру.

В демократических странах, где пролетариат является большей частью населения, эта концепция не имеет смысла, поскольку всеобщее избирательное право наделяет пролетариев решительным перевесом во всех политических вопросах. Если в этих странах нет социалистических правительств, это служит доказательством того, что не все рабочие стоят на социалистических позициях, и в этом случае диктатура пролетариата, даже если она не совсем такова, какой должна быть, то есть диктатурой небольших комитетов, будет всегда диктатурой партии рабочего класса, стоящей в оппозиции к другой партии и большинству населения страны. В таких странах, как Россия, где пролетариат — незначительная часть населения, система, действующая под вывеской диктатуры пролетариата, — наихудшая из тираний, которая ведет к тому, что против пролетариев и вообще против всех социалистов зреет ненависть большей части населения — в частности, крестьян, что не только неоправданно, но и чрезвычайно опасно для любого социального организма. Ущерб, причиненный большевиками идеям социализма, также трудно переоценить. Урок, который следует извлечь из всего этого, должен был бы выразиться во всеобщем отказе социалистов от этой губительной теории. Будет ли так? Противоположный сценарий кажется более возможным. Личный опыт один может помочь извлечь из этого урок. Но урок этот будет куплен слишком дорогой ценой, если, к примеру, революция случится во Франции, ведь она уничтожит одну из самых великих и блестящих цивилизаций в истории, цивилизацию Вольтера и Анатоля Франса.

Глава V ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИДЕИ БОЛЬШЕВИЗМА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Помимо вопроса «диктатуры пролетариата», доклад Ленина на съезде Третьего Интернационала затрагивает два других вопроса, не менее важных: свобода собраний, свобода слова. Вот что говорит Ленин:

«С другой стороны, рабочие прекрасно знают, что „свобода собраний" даже и в наиболее демократической буржуазной республике есть пустая фраза, ибо богатые имеют все лучшие общественные и частные здания в своем распоряжении, а также достаточно досуга для собраний и охрану их буржуазным аппаратом власти. Пролетарии города и деревни и мелкие крестьяне, т. е. гигантское большинство населения, не имеют ни того, ни другого, ни третьего. Пока дела стоят таким образом, „равенство", т. е. „чистая демократия", есть обман. Чтобы завоевать настоящее равенство, чтобы осуществить на деле демократию для трудящихся, надо сначала отнять у эксплуататоров все общественные и роскошные частные здания, надо сначала дать досуг трудящимся, надо, чтобы охраняли свободу их собраний вооруженные рабочие, а не дворянчики или капиталисты-офицеры с забитыми солдатами»[237].

Как видно, Ленин умеет извлекать выгоду из существующей в капиталистическом мире несправедливости. Какой здравомыслящий человек станет отрицать, что несправедливости немало и она жестока? И тем не менее вся его тирада столь же лжива, сколь и лицемерна.

Нет, в демократических буржуазных республиках свобода собраний не пустая фраза, и Ленину об этом известно, как никому другому, ведь он столько раз сам выступал на собраниях, проходивших в Париже, Цюрихе, Женеве. «Дворянчики», «капиталисты-офицеры», в мирное, довоенное время наблюдавшие за тем, как проходили эти собрания, были агентами и жандармами, мало интересующимися тем, о чем там говорится, и никогда не вмешивались в их ход. Старожилы, возможно, и могли бы привести несколько случаев, когда свобода слова на довоенных собраниях как-то ущемлялась. Но любой честный человек признает, что это были исключительные случаи, в некотором роде политические анахронизмы. Лично я не могу припомнить ни одного вмешательства такого типа. Мне довелось слышать — в Манеже Сен-Поль, в зале Ваграм, в Гайд-Парке — самые пламенные речи, направленные против существующего строя, против капитализма, против властей в целом и отдельных их представителей в частности (царя Николая, г-на Аристида Бриана, например), слышал я и анархистские речи, и призывы к цареубийству, слушал выступления Себастьяна Фора и испанских анархистов, и ни разу жандармы, присутствовавшие при этом или

дежурившие у входа, не вмешались, пусть на их лицах и не было благожелательности. В Лондоне очень часто бывало, что полисмены защищали и обеспечивали свободу слова, именно своим личным присутствием давая возможность революционно настроенным ораторам, на все корки честившим правительство и полицию, воспользоваться свободой слова, и предохраняли их от толпы, не желавшей слушать подобные речи. Добавлю, что единственные разы, когда мне довелось видеть, как вооруженные люди вмешивались в ход собраний, случились в России еще при царе, в самом начале[238] большевизма. Замечу, что вооруженные рабочие под руководством подростков-большевиков действовали значительно грубее, чем царские жандармы, посланники «дворянчиков».

Но дело не только в «охране их буржуазным аппаратом власти»: есть ведь еще тот факт, что богатые «имеют все лучшие общественные и частные здания в своем распоряжении». Самые величественные из этих зданий — конечно же, парламенты. В Бурбонском дворце, в Палате Коммун, в Рейхстаге все ораторы без исключения, выступающие от лица как богатых, так и бедных, наделены одинаковыми правами в отношении высказываний. Единственное исключение существует в Таврическом дворце в Петербурге, трижды видевшем появление «озверевших солдат». В первые два раза это было, когда разгоняли

Первую и Вторую Думу и полицейские перекрыли двери Дворца перед началом заседания; в третий раз — когда разгоняли Учредительное собрание, что делалось руками ленинской матросни— последнее зрелище отличалось неслыханной, чудовищной грубостью и зверством: матросы угрожали депутатам, оскорбляли их, наставляли на них ружья, а Ленин, великий защитник свободы, благожелательно поглядывал на все это.

А если отрешиться от парламентских зданий? Не подлежит сомнению: богатые обладают лучшими зданиями, чем бедные. Но ни один честный человек не скажет, что бедные лишены возможности проводить собрания от того, что в буржуазных республиках не хватает зданий, предназначенных для этих целей. Впрочем, известно, что обыкновенно богатые и бедные собираются в одних и тех же местах, которые либо бесплатны, как Гайд-Парк в Лондоне, либо доступны любому кошельку, как зал Ученых Обществ или зал Ваграм в Париже, в которых «Аксьон Франсез» и Социалистическая партия поочередно устраивают свои митинги. Что до вопроса досуга, то всему миру известно: собрания социалистов обычно насчитывают больше участников и зрителей, чем собрания богачей, поскольку публика, приходящая

на первые, более живая, подвижная и любопытная, чем публика на собраниях, проводимых буржуазией.

Второй вопрос, «решенный» Лениным в этом же докладе, — вопрос свободы печати.

«„Свобода печати" является тоже одним из главных лозунгов „чистой демократии". Опять-таки рабочие знают, и социалисты всех стран миллионы раз признавали, что эта свобода есть обман, пока лучшие типографии и крупнейшие запасы бумаги захвачены капиталистами и пока остается власть капитала над прессой, которая проявляется во всем мире тем ярче, тем резче, тем циничнее, чем развитее демократия и республиканский строй, как, например, в Америке. Чтобы завоевать действительное равенство и настоящую демократию для трудящихся, для рабочих и крестьян, надо сначала отнять у капитала возможность нанимать писателей, покупать издательства и подкупать газеты, а для этого необходимо свергнуть иго капитала, свергнуть эксплуататоров, подавить их сопротивление. Капиталисты всегда называли „свободой" свободу наживы для богатых, свободу рабочих умирать с голоду. Капиталисты называют свободой печати свободу подкупа печати богатыми, свободу использовать богатство для фабрикации и подделки так называемого общественного мнения. Защитники „чистой демократии" опять-таки оказываются на деле защитниками самой грязной, продажной системы господства богачей над средствами просвещения масс, оказываются обманщиками народа, отвлекающими его посредством благовидных, красивых и насквозь фальшивых фраз от конкретной исторической задачи освобождения прессы от ее закабаления капиталу. Действительной свободой и равенством будет такой порядок, который строят коммунисты и в котором не будет возможности обогащаться на чужой счет, не будет объективной возможности ни прямо, ни косвенно подчинять прессу власти денег, не будет помех тому, чтобы всякий трудящийся (или группа трудящихся любой численности) имел и осуществлял равное право на пользование общественными типографиями и общественной бумагой»[239].

Видно, что это все тот же трюк диалектика, жонглирующего без зазрения совести понятиями. Кому не известно, какие страшные злоупотребления творятся в журналистике с помощью денег? Но делать из этого вывод, что свобода в современном обществе— это обман, значит показать, что тобой менее всего движет стремление к истине. Со всеми теми злоупотреблениями, с которыми нужно бороться (об этом мы поговорим в последней главе), антикапиталистическая пресса в демократических

республиках, таких как Франция, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, и даже в свободных монархиях, каковыми являются Англия и Италия, обладает всем, чтобы выжить и вести самые мощные кампании против существующих властей и против капитала. Это возможно в силу двух причин. Во всех странах, какой бы режим в них ни царил — капиталистический или большевистский, — выделяются фонды для создания органов печати, защищающих правящий класс[240]. С другой стороны, есть общественные займы, — как тот, что объявлен недавно в пользу «Юманите» и который позволил собрать, кажется, пятьсот тысяч франков, — которые делают возможным создание и содержание крупных социалистического толка органов печати. Во всех свободных странах имеются подобные органы. «Форвертс», «Фрейгейт», «Аванти», «Юманите» выходят тиражами в сотни и тысячи экземпляров. До войны они были по-настоящему свободными. И даже сегодня, со всеми существующими злоупотреблениями и всеми глупостями цензуры самая враждебная по отношению к властям пресса, — такие газеты, как «Аванти» и «Попюлер де Пари», отличающиеся чуть ли не большевистской направленностью, — пользуется почти полной свободой выражать какие угодно взгляды[241]. Добавлю, что, на мой взгляд, все те, кто хотел бы читать «Юманите» и «Попюлер», если бы эти органы печати имели в своем распоряжении «общественные типографии и общественную бумагу», как говорит Ленин, читают их уже сегодня.

Как все же опрометчиво со стороны советского лидера обвинять буржуазные республики в недостатке уважения по отношению к свободной прессе. На самом деле, чтобы найти хоть что-то аналогичное циничной грубости, с которой большевики подавили в России любой проблеск независимости в прессе, следует обратиться даже не ко временам Николая II, а ко временам Николая I.

Эта опрометчивость может сравниться лишь с той, которую большевистский лидер демонстрирует в том же документе по отношению к террору. Вот что посмел он сказать по этому поводу:

«Убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург является событием всемирно-исторической важности не только потому, что трагически погибли лучшие люди и вожди истинного пролетарского Коммунистического Интернационала, но и потому, что для передового европейского — можно без преувеличения сказать: для передового в мировом масштабе — государства обнажилась до конца его классовая сущность. Если арестованные, т. е. взятые государственной властью под свою охрану, люди могли быть убиты безнаказанно офицерами и капиталистами, при

правительстве социал-патриотов, следовательно, демократическая республика, в которой такая вещь была возможна, есть диктатура буржуазии. Люди, которые выражают свое негодование по поводу убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, но не понимают этой истины, обнаруживают этим лишь либо свое тупоумие, либо свое лицемерие. „Свобода" в одной из самых свободных и передовых республик мира, в германской республике, есть свобода безнаказанно убивать арестованных вождей пролетариата. И это не может быть иначе, пока держится капитализм, ибо развитие демократизма не притупляет, а обостряет классовую борьбу, которая, в силу всех результатов и влияний войны и ее последствий, доведена до точки кипения»[242].

Убийство несчастных Карла Либкнехта и Розы Люксембург является, без всякого сомнения, непростительным преступлением. Правительство Шейдемана не только заклеймило этот акт, остающийся единичным, но и немедленно приступило к расследованию, и преступники понесут наказание, как только будут найдены и предстанут перед судом. Бесполезно говорить, что в этом нет никакой заслуги правительства «социал-патриотов», поскольку даже при Николае II преследовали тех, кто совершил покушение на Герценштейна и Йоллоса. И столь же лживо, сколь и опрометчиво утверждать, «что „свобода " в одной из самых свободных и передовых республик мира, в Германской республике, есть свобода безнаказанно убивать арестованных вождей пролетариата». И наоборот, не подлежит никакому сомнению, что убийства политических оппонентов не только допустимы и позволены, но и происходят по приказу свыше что ни день в Советской республике. Я имею в виду не только такие, как убийство Шингарева и Кокошкина, оставшееся безнаказанным и гораздо более ужасное, чем убийство немецких политических деятелей, ведь оба несчастных депутата вовсе не являлись борцами, задержанными с оружием в руках, как Либкнехт и Роза Люксембург, но людьми в высшей степени мирными, беззащитными, больными, подло убитыми прямо в больнице. Правительству Ленина были прекрасно известны имена их убийц, поскольку их назвали газеты, но оно не посмело или не пожелало их преследовать, хотя и осудило их поступок (в первое время большевики еще хоть чего-то стыдились). Теперь же, что ни день, задержанных, то есть «взятых государственной властью под свою охрану», подло и цинично сотнями расстреливают по приказу советского правительства, без суда и следствия, зачастую даже не сообщая им, в чем состоит их преступление, и не обнародуя их имена. А лицемер, стоящий во главе этого правительства,

осмеливается после этого обвинять социал-патриотов и демократический режим в убийстве Либкнехта и Розы Люксембург! Неслыханный цинизм и неосмотрительность!

И вновь мы сталкиваемся с вопросом большевистского террора.

Цитатой из давней работы Ленина я уже показал ложность его сегодняшнего утверждения о том, что террор — является ответом большевиков на происки империалистов и контрреволюционеров всего света. Бедняжки! На самом деле террор носит предумышленный характер. Каково его значение?

Я недостаточно наивен, чтобы думать, что все ужасы, которые совершили большевики, смогли бы им много повредить в глазах общественного мнения и даже перед лицом «суда истории». Поступающие жестоко никогда не подвергаются суровому осуждению, коль скоро они добились успеха. В эти времена ненависти и насилия, в этом мире железа и крови скорее осуждают тех, кто недостаточно жесток. Люди, пролившие больше всего крови, объявляются сильными личностями, подлинными вожаками. Те, кто пролил кровь, но меньше, чем первые,— квалифицируются как слабаки, беспомощные, ни на что не способные. Обычный упрек князю Львову или г-ну Керенскому звучит как упрек в том, что они не расстреляли Ленина в тот день, когда он впервые взялся за пропаганду своих идей. Ленин, кажется, и сам не вполне это понимает и, возможно, обозлен на них.

Нет, история не осудит большевиков за то, что они сгубили десятки тысяч жизней, как не осудит тех, кто придет на смену большевикам и загубит их самих в тех же самых количествах. Разве генерал Маннергейм, самый геройский из генералов, оттого, что смог за одну войну получить русский Крест Святого Георгия и немецкий Железный Крест, был опозорен, расстреляв пятьдесят тысяч рабочих? Не более, чем Урицкий и Ленин. Подобное «историческое бесчестье» принадлежит к набору условной лжи человечества, и все политические деятели прекрасно о том осведомлены: будь то Робеспьеры, будь то наполеоны (буржуазные и социалистические), которые — я наблюдал это во время нашей гражданской войны — открыто похвалялись тем, что совершили подвиги, подобные взятию крепости Сен-Жан д'Акр.

Кроме того, всегда есть мощный аргумент: Французская революция, до сих пор оказывающая огромное влияние на воображение большинства политиков. Разве тогда не было совершено столько же преступлений, убийств, не допущено столько же ужасных вещей, как и ныне? А ведь это коронный

ленинский довод: «Мы жестоки? Буржуа были такими же в 1793 году».

И впрямь, недостатка в страшных прецедентах нет: парижская резня стоит петроградской, нантские события ни в чем не уступают событиям в Кронштадте и Севастополе, Сансон со своей гильотиной ничем не лучше китайских палачей из Чрезвычайки.

Однако большевистские расправы с неугодными внушают все же большее отвращение, чем те, что творились в эпоху Великой французской революции. Они гадливы прежде всего *имитаторским* характером жестокости. Так и кажется, что большевики из кожи вон лезут, желая собезьянничать все гнусности, допущенные героями французского террора: резня, заложники, утопленники. У них тоже был свой сентябрь, свой революционный трибунал, своя общая могила, свой Людовик XVI, своя Мария-Антуанетта, свой дофин, свои бывшие, свои Мараты, Каррье, Фукье-Тенвили. Одной гильотины недоставало; г-н Троцкий, самый большой позер из всей большевистской верхушки, мечтал о ней с первого дня революции, и если сегодня они все же вынуждены прибегать, чтобы прикончить свои жертвы, либо к ружьям китайских охранников, либо к штыкам латышей, этим унижением они обязаны лишь отсталости русской промышленности: какой русский завод смог бы поставить столько гильотин, сколько удовлетворило бы все ЧК городов и весей огромной России? Чего также решительно не хватает террору в России, так это народного энтузиазма у подножья эшафота. Народ в мрачном оцепенении взирает на ужасы, творимые Чрезвычайной Комиссией.

Была надежда, не правда ли, что век Просвещения не пройдет даром? Вера Робеспьера в террор, по крайней мере, была искренней, точно так же, как вера в католическую церковь Торквемады. Могла ли новая инквизиция разжечь свои аутодафе на любой из европейских площадей?

Должны ли были последователи Карла Маркса думать иначе, чем последователи Жан-Жака Руссо? Разве они не представляли, к чему ведет террор, такой, какой был в 1793 году?

Ничуть не бывало.

И эти люди именуют себя социалистами... До сих пор социализм еще ни разу не прошел сурового испытания приходом к власти, если не считать опыта Коммуны, короткого и незаконченного. Социализм до сих пор имел своих апостолов и мучеников, но у него не было инквизиторов и палачей. А ведь большевики считают себя социалистами, и многим будет выгодно поверить им. Как бы мы ни протестовали, на счет социализма будут записаны отныне и навек Варфоломеевские ночи

кремлевской команды. «Вы ничем не лучше других», — скажет «беспристрастный» свидетель.

Впрочем, большевики не просто так подражают Французской революции. Ничто не нанесло большего вреда России и антибольшевистскому движению, чем эта аналогия чисто внешнего свойства, чем это поверхностное сходство двух революций. Именно они, эти черты схожести, во многом повлияли на европейских интеллектуалов, начиная с Ромена Роллана, который как будто почти согласился стать «Кантом» коммунистической революции, и кончая гном Вильсоном, не пожелавшим стать ее «Брунсвиком»[243]. Эти черты породили и симпатии к большевикам в кругах, которые знают о них лишь из газет, особенно газет враждебных, ибо враждебность, которую выказывают большевикам иные печатные органы Европы, — весьма ценная для большевиков вещь, настолько прочна нравственная и политическая репутация этих органов[244].

И правда, внешнее сходство обеих революций подчас поразительно. Масштаб тот же: энтузиазм, разгул страстей, гражданская война, террор, разложение. Слабый царь, ведомый царицей, иностранкой по происхождению и ненавидимой народом. Либеральный аристократ во главе первого периода революции[245]. Затем изгнанные и преследуемые жирондисты, ликующие и побеждающие монтаньяры. Русская Вандея (даже две), которой оказывают помощь иностранные правительства, желающие «утопить революцию в крови». А ужасные эмигранты и контрреволюционеры, формирующие в Париже новый Кобленц, требующие интервенции реакционных сил? А героические революционеры, что, подобно представителям Конвента, поражают весь мир своей свирепой решимостью, создают армии, одерживают победы, берут приступом и стирают с лица земли восставшие города (разве Ярославль не стоит Тулона?)...

И насколько же иной предстает вся эта картина, когда видишь ее вблизи, когда хоть немного знаешь действующих лиц! Сколько вылезает «деталей», не согласующихся с общей схемой внешнего сходства.

И прежде всего странный состав жалкого русского Кобленца. Эти ужасные реакционеры, сражающиеся с большевистской революцией и питающие к ней глубочайшее презрение, все эти русские графы д'Артуа, русские Конде, — каковы на самом деле их имена? Плеханов, Кропоткин, Чайковский, Лопатин, Брешковская, Аксельрод, Засулич, Вера Фигнер, Иванов, старые бойцы, старые поборники демократии и социализма, все то, что Россия содержит знаменитого в анналах своей героической истории[246]. Это Короленко, великий писатель, Мякотин,

Пешехонов, Потресов, публицисты с незапятнанной репутацией, известные и уважаемые всеми, это девять десятых тех, кто что-то значит в культуре современной России. Каков же лозунг этих прислужников реакции? Разве это «да здравствует король?», бывшее на устах эмигрантов другого Кобленца? Вовсе нет, они провозглашают суверенитет Учредительного собрания, вышедшего из недр всеобщего избирательного права и изгнанного «революционерами».

С другой стороны, было бы трудно отыскать в истории Французской революции что-то подобное роману, влюбленной дружбе, пережитым большевиками с внешним врагом[247]. В другом месте я написал[248], что никогда не рассматривал Ленина как агента немецкого империализма. Это нисколько не умаляет той огромной роли, которую сыграли немцы в истории октябрьского переворота и всей революционной деятельности, как и в правительстве большевиков. Известно, что Австро-Венгрия предложила сепаратный мир правительству России как раз за несколько дней до большевистского переворота. Узнало ли правительство Вильгельма II по своим каналам об этом секретном предложении своего союзника? Дало ли оно своим агентам в России приказ ускорить свершение переворота? Было ли это простым совпадением? Настанет день, и история прольет на эти вопросы свет, если она в состоянии уследить за всеми нитями, которые через посредничество Парвуса, Ганецкого и К° вели от Вильгельмштрассе к Смольному институту. Во всех случаях тот, кто был в то время в Петрограде, мог видеть собственными глазами ничем не прикрытую активность немецких агентов, которые покупали пулеметы у солдат-спекулянтов[249]. Предположим, с точки зрения интернациональной, было позволено принимать помощь немецких империалистов не для того, чтобы служить Германии, а для того, чтобы попользоваться ею, как заявляют большевики[250]. Допустим это, раз уж этого так хочется Ленину. Но не станем искать подобного в истории Французской революции. Я не в силах представить себе Робеспьера, распоряжающегося кредитами, полученными от Питта, так же как Дантона, подписывающего Брест-Литовский мир. Для них национальное достоинство не являлось, как для Ленина, «точкой зрения мелкопоместного дворянина-дуэлянта», а договоры не были, как для Троцкого в жуткой комедии под названием Брест-Литовск, случаем удовлетворить так называемое революционное мелкое тщеславие, — на деле очень буржуазное, — красуясь на политических турнирах в обществе графов и князей.

Впрочем, следует признать, что в этой зловещей истории с

сепаратным миром история подыграла большевикам. Если искренние симпатии французов, англичан, итальянцев сегодня на их стороне, они и вправду обязаны этим своей счастливой звезде. Кто мог предвидеть в конце 1917 года решительную победу союзников без помощи России? Большевики никогда на это не рассчитывали, а Троцкий публично заявил (в речи 14 февраля 1918 года), что рассматривает такую возможность как маловероятную. Был ли Брест-Литовский мир[251] и на самом деле ловким и дальновидным маневром? Правда ли, что большевики надули немцев, как они тем похваляются ныне? Нет ничего более ложного. Кугельманы и Чернины хорошо знали, что делали: для них, больше, чем для большевиков, Брест-Литовский мир был передышкой, если воспользоваться знаменитым выражением Ленина. Он во много раз увеличивал их шансы на победу на западном фронте, куда они бросали все силы, высвободившиеся от ослабления русского стана[252]. Что произошло бы, если бы они одержали решительную победу до прибытия американского подкрепления (это было чисто военным вопросом, решение которого ускользнуло из поля зрения тех людей, которые являлись в этом большими доками, чем большевики, — Людендорфа и Гинденбурга)? А случилось бы следующее: западные демократии были бы раздавлены, а торжествующий немецкий империализм не потерпел бы большевиков у власти и 24 часов. Воспользовавшись ими, насколько это было возможно, их бы без всяких церемоний вышибли из России, как было сделано в Украине и Финляндии. Для Москвы наверняка подыскали бы Скоропадского или Маннергейма. Не случилось этого по тысяче причин. Стратегические ошибки, допущенные, судя по всему, Людендорфом, который не послал из Салоник вовремя морем союзническую армию, как и не уберег резервы во время крупного наступления в 1918 году; огромное усилие союзнических войск и промышленности; голод в Германии, спровоцированный блокадой; падение Болгарии и Турции, и тысяча других причин привели к этому результату; большевистская пропаганда в Германии — всего лишь одна из них, имевшая довольно скромное значение, и то лишь при наличии прочих причин. Эти тысячи факторов ни в малой степени не были предугаданы большевиками: они оказали немецкому империализму огромную услугу, которой тем не менее не было достаточно, чтобы обеспечить его победу. А победа эта означала крах демократии, социализма и большевизма прежде всего. Неплохой расчет! Брест-Литовский мир явился предательством как с точки зрения интернациональной, так и с точки зрения патриотической. Ныне,

через призму победы союзников, мир этот предстает в ином свете, нежели в июне 1918 года, когда немцы были в Шато-Тьерри, и коренным образом отличается от того, как он воспринимался бы, если бы привел к введению немецкого военного правления как в Париже, так и в Москве. Я вот думаю, что сказал бы тогда г-н Жан Лонге?

Впрочем, Германия, возможно, ничего и не выиграла, если взглянуть на это под другим углом зрения: слабость русских не спасла ведь ее от полного поражения в войне и полной капитуляции, для нее же было бы лучше, если бы демократическая Россия, управляемая Временным правительством, была представлена на переговорах в Париже с тем же статусом, что Франция и Англия. Такая Россия, пользующаяся влиянием, наверняка настояла бы — тому есть много причин, кроме того, это в ее интересах — на смягчении отдельных условий мира, навязанного Германии победителем. Но всего предвидеть невозможно: политические соображения немецких империалистов были продиктованы надеждой на победу или хотя бы на матч с нулевым счетом.

Все это я пишу затем, чтобы показать: большевикам нечего гордиться Брест-Литовским миром как неким росчерком мастера, якобы свидетельствующим о великой прозорливости Ленина. Но покуда речь идет о параллелях с Французской революцией, они не похваляются этим, они предпочитают обходить его молчанием и правильно делают, ведь подобного не отыскать в истории французских революционеров, с которыми они так охотно себя сравнивают.

Между французской и русской революциями есть и одно фундаментальное отличие:

Во Франции война воспоследовала за революцией; в России революция вышла из войны.

Грандиозный взрыв в области освободительных идей в XVIII веке вкупе с экономическим развитием Франции вылились в революцию. Потенциальная энергия французского народа, накопленная в течение веков, превратилась в движущую силу. Последовавшая за революцией война, продлившаяся двадцать пять лет, явилась ее следствием и питалась избытком накопившейся энергии. Не только Вальми и Маренго, но и Аустерлиц и Йена обязаны, хотя бы частично, взрыву революционных идей. Солдат, умиравший ради славы Наполеона, думал, что умирает за свободу.

Насколько иной была русская революция! Неудавшаяся ее попытка 1905—1907 годов утомила и лишила иллюзий целое поколение. Русский народ вошел в победный 1917 год уже

обессиленным тремя годами войны, которая велась в условиях несравненно более трудных, чем те, в которых находились народы союзнических стран[253]. Материальное и моральное усилие, свершенное им в годы войны, подкосило его. Жизнь даже в самом начале революции уже была разлажена. Все те явления, что приняли угрожающие размеры при революции, — считается, что они являются именно ее следствием, — такие как дезертирство, административная неразбериха, экономический хаос, кавардак на железной дороге, плохое функционирование заводов — все это было уже при царском режиме. Революция лишь сделала их более заметными и, разумеется, безмерно раздула их.

Сама война была страшным потрясением сродни революции, поглотившим энергию русского народа, посеявшим лишь разочарование, заставившим его во всем разувериться. Когда разразилась революция, веры уже не было. И объяснялось это не одними лишь невзгодами и военными поражениями, как иногда считают. Если бы так, революция случилась бы уже в 1915 году, после великого отступления и падения Ковно, Бреста, Ивангорода. В том- то все и дело, что в первые три года войны Россия не понесла оглушительного поражения. Те поражения, которые выпали ей на долю, не были чем-то исключительным, то же пришлось пережить и другим странам. Были и победы: завоевана восточная Галиция, русский флаг реял над Эрзерумом и Трапезундом. В феврале 1917 года стратегическая ситуация не была катастрофической. Но вот вера... вера была утрачена. Интеллектуальная Россия с самого начала войны была охвачена умонастроением, которое в 1870 году Виктор Гюго передал следующим образом:

Я предвижу как лучшее, так и худшее;
Черное полотно:
Ибо Франция заслужила Аустерлиц,
а Империя — Ватерлоо.

В начале 1917 года разочарования интеллектуалов достигли верхнего предела по причинам, которые хорошо известны. К этому добавились крайнее изнеможение народа и начало экономического краха. Революция произошла чуть ли не механически, но в стране оставалось столько энергии, сколько требовалось как раз для того, чтобы покончить с гнусным режимом. А вот того гигантского подъема, необходимого, чтобы довести до положительного результата одновременно две задачи — войну и революцию, — не было и не могло быть[254]. Национальная революция быстро выродилась; бунт солдатни, требовавшей роспуска армии, возобладал надо всем.

Глава VI ПОЛОВИНЧАТЫЙ БОЛЬШЕВИЗМ: ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ

Фундаментальные идеи большевизма, как и его практическая программа действий, недавно были сформулированы Лениным следующим образом: «Соединение диктатуры пролетариата с новой демократией для трудящихся, — гражданской войны с широчайшим вовлечением масс в политику...»[255]

Следует отдать должное лидеру русских большевиков: он честно выражает свои мысли, а четкость его формулировок особенно выделяется на фоне растерянности, царящей ныне в стане очень большого числа западных социалистов.

Интересен опубликованный в «Л'Авенир» «Опросный лист по поводу большевизма». Самым квалифицированным активистам социалистической партии были направлены вопросы; первые два звучат следующим образом[256]:

«Возможно ли в настоящее время превращение революционным путем капиталистического строя в социалистический? По какому признаку можно это понять? В чем это может состоять? Может ли обойтись революционная власть без подтверждения демократических практик? И каким образом?»

Ответы каждый по себе не представляют большого интереса. Но вместе слагаются в нечто весьма любопытное.

«Социалистическая партия, — пишет г-жа Луиза Сомоно, первой ответившая на вопросы, цитируя „программу Комитета за возобновление международных связей",— энергично отвергает всякую попытку представить револю- цию как преждевременную, а пролетариат как недостаточно подготовленный к осуществлению властных функций... Одна революция способна быстро и полно решить задачи общественного переустройства».

Так думает социалистическая партия, от имени которой говорит г-жа Луиза Сомоно. А вот г-н Андре Лебей, принадлежащий к той же партии, чей ответ следует сразу за предыдущим, не разделяет, кажется, этого мнения. Читаем его письмо: «Безумно, преступно и абсурдно — это бросается в глаза — говорить: „настоящая задача пролетариата — немедленно брать власть в свои руки и т. д..." Вам, так же как и мне, известно, что рабочий класс еще очень мало воспитан. Интеллектуально и материально он отстает.... Только когда капиталистическое общество достигнет своего максимального развития и это отразится на всем, повстанческое движение— которое невозможно заранее назначить — возможно, будет

необходимо»[257].

С другой стороны, можно прочесть в недавно выпущенной брошюре Альбера Тома следующее: «Мы мечтали, чтобы классы, накопившие богатство и власть, компенсировавшие себе понесенные во время войны потери за счет новых производств, сохранили немного того нового духа, которым они прониклись во время войны, чтобы они были готовы воспринять, что хозяйствовали не только в личных интересах, но и в интересах других членов общества. Они воспринимали бы ответственность, возложенную на них руководством, как социальную функцию, исполняемую на благо всех, а рабочих как равных, с которыми вели разговор». «Длительный союз, — спрашивает далее г-н Тома, — союз, стоящий над всеми нашими схватками, — стал ли он невозможен? Я отказываюсь этому верить»[258].

Таким образом, г-жа Сомоно хотела бы, чтобы революция разразилась во Франции немедленно, г-н Лебей считает ее преждевременной, а г-н Тома и вовсе ее не желает. В недрах «объединенной» партии имеется сразу три различных мнения по этому, далеко не пустячному вопросу. Какое из них отражает официальную точку зрения партии? Стоит ли прямо сейчас осуществлять революционный переворот, как о том говорит г-жа Сомоно? Или это, напротив, «безумно, преступно и абсурдно», как утверждает г-н Лебей?

Примирить эти две политические концепции казалось задачей непосильной. Но Чрезвычайный национальный съезд, состоявшийся в апреле 1919 года, доказал противоположное. Он подтвердил единство партии и «ответил» на фатальный вопрос:

«Тверже, чем когда-либо, с убежденностью, возросшей от полученных жестоких уроков, социалистическая партия заявляет, что конечной целью ее действий является социальная революция.

Социальная революция означает не более не менее, как замену коллективной формы производства, обмена и потребления существующего ныне экономического строя, основанного на капиталистической частной собственности, отвечающей отжившему историческому периоду.

Будущее покажет, каким образом должно свершиться это преобразование, которое и есть революция: законной передачей власти, под давлением всеобщего избирательного права, либо силовым актом — выступлением организованного пролетариата»[259].

Это именно то, что Леон Блюм в своем «Комментарии к „Программе действий социалистической партии”» называет «подойти к проблемам в лоб, без лицемерия, без двусмысленностей». Да будет мне позволено не разделять его

точки зрения.

Тот, кто называет вещи своими именами, в процитированном фрагменте занимается словоблудием. С чисто формальной точки зрения, «Программа», конечно, верна. То, что легальная замена новым экономическим строем существующего ныне может быть названа социальной революцией,— это не вызывает сомнений. Это так же допустимо, как допустимо говорить о революции в химии или ботанике. Да только вопрос не в этом. Вопрос как раз в том, чтобы понять, каким образом должна свершиться эта перемена: «под давлением всеобщего избирательного права» или «силовым актом — выступлением организованного пролетариата». На этот вопрос у «Программы» нет другого ответа, кроме скромного: «Будущее покажет». Г-н Блюм тем временем призывает коллег в своем «комментарии» «не смешивать средства с целью».

Как?! Мир в огне, Европа, возможно, агонизирует, страшный эксперимент поставлен в Москве некими людьми, только и ждущими момента, чтобы повторить его в Париже и Лондоне, в умах царит великое смятение, напряжение в массах огромно, а французская социалистическая партия находит момент благоприятным для того, чтобы заявить, — да еще и подать это как некое открытие, — то, что было тысячу раз говорено: конечная цель социализма — замена строя, и эта замена называется социальной революцией.

The man in the street[260], как говорят англичане. Так не вправе ли мы обратиться к участникам съезда с такими словами:

«Господа, никто вас о том не спрашивал. Мы это знаем. Я прошу вас, если хотите, настоятельно, как те люди из Москвы, организовать побыстрее „силовой акт” и, если хотите, позовите меня на подмогу. Вот что я хотел бы знать. Ведь если дойдет до баррикад, я должен понимать, по какую их сторону мне встать».

«Ответ» таков: «Пролетариат не может отказаться в целях завоевания политической власти ни от одного из методов борьбы».

«Ни от одного из методов борьбы»... Пулеметы — превосходный метод ведения борьбы, опробованный в русском эксперименте (как Николаем II, так и Лениным), он показал, что с их помощью меньшинство достаточно долгое время в силах навязывать свою волю большинству. Эта фраза из «Программы» должна была доставить удовольствие г-ну Александру Блану, называющему себя большевиком. Возможно, это смысл его жизни. Однако может ли, должен ли французский пролетариат ради завоевания политической власти обойтись без всеобщего избирательного права? Должен ли он, напротив, дожидаться, пока

будет составлять большинство?

На это «ответ» таков: «Социальная революция уверена в успехе, только если настал ее исторический час, то есть момент, когда она созрела как в материальном плане, так и в умах. Партия всегда отвращала рабочих от преждевременных выступлений и от импульсивных демонстраций».

На сей раз должны быть довольны г-да Андре Лебей и Альбер Тома, такова, впрочем, и была цель тех, кто сочинял программу. Но человек с улицы всегда недоволен: если сегодня в нем не нуждаются, может быть, позовут завтра? А если не завтра, то когда?

Так же, как партия не определяет форму, она не определяет и момент.

От чего же зависит форма и время проведения революции?

«Форма революции (пролетариата) в конечном счете будет зависеть от обстоятельств (!), в частности, от природы сопротивления, которое будет противостоять ее освободительному усилию. Социалистическая партия не отступит ни перед одним из случаев, предоставленных ей пусть даже ошибками, допущенными буржуазией».

Следовательно, принцип всеобщего избирательного права — *вопрос обстоятельств*. Но решительно непонятно, при чем тут сопротивление буржуазии. Допустив, что этот принцип будет для буржуазии также вопросом обстоятельств (что вполне вероятно) и обстоятельства будут таковы, что буржуазный класс сочтет себя в состоянии обойтись без всеобщего избирательного права, даже не стоит вопрос о том, чтобы понять: вправе ли социалистическая партия противопоставить его силе свою силу? Слишком очевидно, что в этом случае буржуазия будет нести ответственность за революцию, а социалистам ни за что отвечать не придется. Но пока ничто не угрожает существованию всеобщего избирательного права, будет ли иметь место силовое выступление, можно ли, должно ли его осуществить? Вопрос вопросов. Человек с улицы все еще ждет ответа съезда.

«Социалистическая партия не определяет момент...» — гласит «Программа». «Как мы можем предвидеть, какую форму примет революция?» — спрашивает Леон Блюм. Однако определяет партия момент или нет, предвидит форму революции или не предвидит, все же необходимо, чтобы она ответила на вопрос, поставленный «Л'Авенир»: подходит ли настоящий момент для появления коллективной собственности на орудия труда, на обмен товаров и потребление? Если нет, партия обязана честно сказать об этом, не думая о том, будет ли это неприятно г-же Луизе Сомоно и г-ну Александру Блану. Если да, также следует

прямо сказать об этом, невзирая на огорчение, которое могут испытать г-да Альбер Тома и Андре Лебей. И не менее важно ответить на второй вопрос «Л'Авенир»: может ли революционная власть обойтись без подтверждения демократических практик? Четкие ответы на эти не менее четкие вопросы были бы несравненно полезнее открытий, заявленных в «Программе действия» и в «Комментарии» в отношении конечной цели социалистической партии, а именно — кто бы мог подумать? — замены одной формы собственности другой.

Впрочем, если «Программа» умалчивает о возможных шансах различных форм социальной революции, г-н Леон Блюм все же роняет несколько слов по этому поводу. Они весьма многозначительны и заслуживают лучшего отношения. Он говорит: «Зато если бы осуществилась на практике одна из гипотез, которые нам пришлось рассмотреть, *пусть и не самая вероятная*, если захват власти пролетариатом был бы результатом законного прихода к ней в силу того, что социалисты завоевали большинство мест в парламенте своей страны, если бы они были в состоянии осуществить то, что является смыслом революционных преобразований, то есть радикальную трансформацию формы собственности, так вот, несмотря на законный характер этой трансформации, это все равно было бы революцией (*Новые аплодисменты*)».

Полагаю, эти аплодисменты относились главным образом к высказанной г-ном Блюмом сенсационной идее, что конечной целью социалистической партии является смена формы собственности и что эта смена называется революцией. Но не думаю, что его оценка возможности осуществления теорий, которые ему «пришлось рассмотреть», встретила единодушное одобрение съезда. Я не могу не выразить свое удивление тем, что вопросы подобного рода в такой момент могли были быть обойдены молчанием в «Программе» и быть затронуты мимоходом в «Комментарии», где им отведено всего девять слов. Вследствие того, что социалисты еще не имеют большинства в парламенте и в стране, французский народ, и в первую голову пролетариат, вправе ожидать от социалистической партии указаний: к чему она их призывает?

«Программа действий социалистической партии» более четко отвечает на не менее важный вопрос о диктатуре пролетариата. Вот что там говорится по этому поводу:

«Какова бы ни была форма, в которой произойдет революция, вслед за взятием власти пролетариатом, по всей видимости, последует период диктатуры».

Постулат точен, можно лишь поздравить французскую

социалистическую партию с тем, что она сумела так хорошо воспользоваться уроком, преподанным русской революцией. Французские деятели, прикидывающиеся большевиками и воспринявшие большевистские идеи как раз в то самое время, когда они не выдержали испытания временем, своей тактикой напоминают мне тех бравых египтян, которые сидели тихо, покуда все силы Великобритании были поглощены войной, и взбунтовались во имя независимости после поражения Германии.

«История ясно показывает смысл этого понятия, которым бесстыдно злоупотребляют в реакционных полемиках. Оно дает решительное доказательство того, что новый строй — политический или социальный — не может при закладке основ новой законности положиться на кадры того режима, который был смещен. Революции XIX века преуспели либо провалились в зависимости от своего отношения к данному принципу. Этот переход от одного строя к другому и составляет диктатуру пролетариата».

Так написано в «Комментарии» г-на Блюма.

«Когда новый строй, будь то политический или социальный, неважно, опрокинул строй, существовавший до того, — это событие заранее обречено на провал, если оно станет немедленно опираться, дабы оправдать себя и ввести в законные рамки, на институты политические, экономические и социальные того строя, который он сверг. (*Аплодисменты*).

Возьмите одну за другой все политические революции XIX века. Вы увидите, что они преуспели либо провалились в зависимости от того, соблюдали ли это правило, которое, могу это сказать, — является правилом профессиональной техники. Они преуспели либо провалились в зависимости от того, озаботились ли — между разрушением старого строя и возведением законного нового здания, — проложить промежуточный этап диктатуры, который, коль скоро речь идет о социальной революции, будет именоваться безличной диктатурой пролетариата, а в другие эпохи, в другие революции, был или мог быть диктатурой роялистской партии, или бонапартистской, или республиканской».

Мне кажется, что эта «Программа» и ее парафраз — «Комментарий» (если только не наоборот, «Программа» — парафраз «Комментария») ничего не доказывают. Все революции XIX века, — заявляет г-н Блюм, — преуспели либо провалились в зависимости от того, был ли у них промежуточный этап диктатуры пролетариата. Было бы любопытно узнать, как г-н Блюм классифицирует революции XIX века и каковы, на его взгляд, те, что преуспели. Однако автор «Комментария» не желает

множить исторические примеры, он не «хочет строить из себя профессора истории». Из этих примеров он выбирает лишь один. «Перенеситесь в последнюю из революций, случившихся во Франции: смена империалистического строя республиканским в 1870—1871 годах. В чем, к примеру, конфликт между Гамбеттой, с одной стороны, и остальным правительством Национальной обороны— с другой? А в том, что перед приближающимися выборами, чья поспешность была обусловлена перемирием, Гамбетта предлагал принять подлинную диктатуру демократии. Гамбетта желал издать закон о том, чтобы бывшие чиновники Империи не могли избираться. Это было незаконно. Неважно, — отвечал Гамбетта, — я за диктатуру, в противном случае Республика и демократия обречены... И впрямь, два или три года спустя, из-за того, что Гамбетта не сумел достаточно продлить промежуточный этап диктатуры, реакционный парламент замыслил реставрацию монархии».

Прежде всего что может означать в этом духоподъемном фрагменте «диктатура демократии»? Означает ли она что-то иное, нежели всемогущее всеобщее избирательное право? Если, к примеру, согласно Конституции Третьей Республики, принцы родов, правящих прежде во Франции, изгнаны из страны, означает ли это, что французский народ уже пятьдесят лет живет при диктатуре? Не задерживаясь на этом, я пытаюсь уследить за ходом рассуждений г-на Блюма на основе его исторического примера и решительно теряюсь. Следовательно, «Гамбетта не сумел достаточно продлить промежуточный этап». А поскольку все революции XIX века преуспели либо провалились согласно тому, следовали ли они правилу г-на Блюма, предписавшего им «промежуточный этап диктатуры», значит, Третья Республика пала, а Империя восстановлена? Нет, на самом деле все не так трагично: «реакционный парламент замышлял реставрацию монархии». Вот и все. Это нас слегка успокаивает относительно действия страшного правила г-на Блюма. Хочется верить ему на слово, что республиканская диктатура Гамбетты в 1870—1871 годах обезопасила от заговорщиков следующие годы (хотя никаких доказательств мы не получили). Чтобы доставить ему удовольствие, я готов допустить, что Франция, благодаря действию на расстоянии этой самой магической диктатуры, не узнала ни буланжизма, ни кризиса, связанного с делом Дрейфуса, ни кампаний, организованных «Аксьон Франсез». И все же я любуюсь смелостью оратора, который выводит историческое правило на основе примера, демонстрирующего прямо противоположное. Ведь революция, положившая начало Третьей Республике, — безусловно, самая успешная из революций,

поскольку строй, появившийся после нее, продолжает существовать уже около полувека, и прошла она, согласно его собственному высказыванию, без «промежуточного этапа диктатуры». Ежели другие примеры, которые г-н Блюм может привести в пользу своего утверждения, столь же убедительны, как и этот, он правильно сделал, заявив, что не желает «строить из себя профессора истории».

Я не позволю себе зайти так далеко, чтобы утверждать, что обратное выдвинутому им в «Программе» положению является правилом и даже что всякая революция всегда проваливалась, если порождала диктатуру. Революции — явления слишком сложные, чтобы можно было вывести их поступательное развитие из одного лишь условия, зависящего в свою очередь от тысячи самых разнообразных факторов. Впрочем, как я уже сказал, чрезвычайно трудно поделить революции на две категории: успешные и провалившиеся. Одно несомненно — идея диктатуры пролетариата не только одна из губительнейших политических идей в мире, но и одна из самых непоследовательных. Я знаю, что, говоря это, могу быть обвинен г-ном Блюмом в «буржуазном лицемерии»: он спокойно заявляет, что «осуждать или клеймить идею диктатуры пролетариата — означает не только оспаривать у нее революционное право, но и вообще право республиканское» (с. 11). Осмелюсь сказать, что это уж чересчур даже для диалектика, испытывающего жестокую необходимость поддерживать священный союз между г-дами Александром Бланом и Альбером Тома (лучший способ сделать это — очевидно, заклеймить «буржуазную критику»).

«Новый порядок, который задумывает пролетариат, будет установлен одним классом, но в интересах и на благо всех. Так же как новая законность, которую этот класс готовит, безличная[261] диктатура пролетариата действует во имя и в интересах всего человечества»[262].

Это само собой. С тех пор как существует мир, еще не было диктатуры, личной или безличной, которая не осуществлялась бы в интересах всего человечества. Впрочем, самые честные либо самые циничные (это в принципе одно и то же) из диктаторов никогда этого не скрывали. «Беря в качестве предлога так называемый принцип всеобщей пользы, можно делать что хочешь», — говорил Наполеон.

«Продолжительность этого переходного периода должна быть настолько краткой, насколько позволят обстоятельства. Она будет разной, в зависимости от состояния экономического производства, в зависимости от уровня подготовки и организации пролетариата, в зависимости от природы и интенсивности

сопротивления»[263].

Поскольку мы рассматриваем здесь лишь диктатуру, противостоящую всеобщему избирательному праву, я задаюсь вопросом: как эта диктатура может окончиться по своей собственной воле? Ежели она сама себя устранит тотчас, как «позволят обстоятельства», что она выдвинет вместо себя? Анархию? Всеобщее избирательное право? В последнем случае есть ли надежда на полную смену курса общественного мнения, созданного замечательным пролетарским опытом? Я тоже не желаю строить из себя профессора истории; без этого было бы очень легко показать, что все диктатуры, личные либо безличные, — последние больше, чем первые[264], всегда оказывали воздействие на общественное мнение в обратном смысле. Ни одна диктатура не устранилась по собственной воле. На что г-н Блюм, конечно же, возразит, что диктатура пролетариата будет отличаться от всех предыдущих в этом, как и во всем другом. Есть русский пример. Как большинство других западных социалистов, г-н Блюм должен был бы побывать в России[265] (полагаю, что большевики его пропустят, что совсем не так уж очевидно, ибо для них он весь проникнут «буржуазным лицемерием»), там он мог бы познакомиться с тем, что думает народ о большевиках. Так мало вероятности, что «обстоятельства позволят» Ленину восстановить всеобщее избирательное право после «временного периода», который не так уже и краток, что он и думать об этом забыл. Эти соображения, впрочем, являются чисто теоретическими: нам всем известно, как на самом деле заканчиваются диктатуры. И режим Ленина не будет исключением, пусть он и совершенно подходит под правило Блюма: будет трудно подыскать что-то лучшее, нежели диктатура.

«Диктаторская власть неизбежно будет осуществляться в этот период пролетариатом, организованным политически и экономически.

Верная своей традиционной тактике, социалистическая партия напоминает, что политические и экономические органы, учрежденные рабочим классом, должны сформировать кадры, на которые возложить свои функции».

И снова мы провалились в пустоту. Что это означает: «пролетариат, организованный политически и экономически»? Профсоюз трудящихся? Или же просто-напросто

Конституция Советов, только что опубликованная объединенными органами социалистической партии и «Юманите»? Тогда следовало бы добавить несколько слов о «беднейших крестьянах», о советах депутатов батраков и середняков, а еще лучше принять комитеты бедноты, чтобы быть

на высоте последнего крика московской моды.

Очень возможно, что опыт социальной революции не слишком отличался бы от русского опыта у народов, более образованных, чем наш. Мир только что прошел сквозь годы войны, которые с особенной силой развязали все инстинкты ненависти и разрушения в человеке. Сам тон полемик во французских газетах (как и в газетах других стран) уже внушает некоторое недоверие относительно мирного характера возможной революции во Франции[266]: с обеих сторон одинаковые оскорбления, обвинения в продажности и предательстве. Признаки понижения интеллектуального и морального уровня видны во всех странах, и социалистическая партия — не исключение. Два депутата-социалиста г-н Басли и Кадо требуют смертной казни с приведением в исполнение «в двадцать четыре часа» для скупщиков и спекулянтов, а две газеты экстремистского толка захлебываются от радости. «Это здоровая республиканская традиция, — пишет «Юманите». — Разве во времена великой революции толпа не хватала и не вешала скупщиков на первом же фонаре?»[267] «Только невежи, — пишет «Аксьон Франсез», — будут удивляться, увидев, как роялисты аплодируют возрождению топок и виселиц, с помощью которых наши короли в течение девяти столетий расправлялись с этой канальей»[268]. А ведь, даже не будучи на стороне скупщиков и спекулянтов, можно считать, что цивилизованное государство обладает иными способами, чтобы справиться с этими элементами, без методов как великой революции, так и монархии. Это сопоставление двух традиций поистине почти трогательно[269]. Г-н Доде испрашивает всякий день гильотину для г-на Кайо. Г-н Бротто из «Попюлер» не будет против, если отсекут голову маршалу Жоффру[270]. Что это — газетные перебранки? Ну да, и в нормальные времена я не стал бы преувеличивать их значения. Но если во Франции грянет революция и эти перебранки — как это случилось в России[271], — перерастут в виселицы, гильотины и, как знать, в пыточные камеры? Ведь вот большевики завели у себя все это.

Но дело не только в состоянии нравственности современного человечества. «Программа действий» социалистической партии, которую это мало заботит, приводит список условий, «наиболее благоприятствующих для успеха революции». Из этих условий приведу лишь два: «1. Единство интернациональной Социалистической партии; 2. Материальное изобилие, в частности, в отношении запасов сырья и продуктов питания, оборудования и транспортных средств». Из этих двух условий первое, не будучи необходимым, не лишено важности. Второе же представляется мне совершенно необходимым. Неужто

Французская социалистическая партия считает, что эти два условия сегодня налицо? Неужто не согласится со мной в том, в 1919 году мы гораздо дальше от них, чем до войны, в 1913 году, когда вопрос социальной революции не был поставлен на повестку дня событиями? Так не лучше ли, вместо того чтобы практиковать в этом вопросе нечто вроде агностицизма, столь слабо подходящего общему догматическому характеру марксистской веры, не достойнее ли недвусмысленно заявить французским рабочим, что «час пролетариата» не пробьет ни сегодня вечером, ни завтра утром?

Правда, что выбираться из этого агностицизма, в том или ином смысле, означало бы нарушить «единство» Французской социалистической партии. Но было бы наивно думать, что сегодняшнее единство сможет устоять при первом испытании революцией (если предположить, что оно продержится до ее начала). Французские социалисты крайне обязаны г-ну Клемансо, чья политика — хорошая ли, плохая ли, — объединяет их всех: Компер-Мореля и Лонге, Тома и Блана, Лебея и Раффем-Дюжана. Г-н Клемансо для них само Провидение, но ни одно провидение не вечно.

Август Бебель заявил на съезде в Амстердаме, высказываясь о политике Жореса: «Мы видим, что при каждом голосовании во французский парламент жоресисты делятся на две-три группки: в Германии такое случается лишь с самой презренной из капиталистических партий— национал-либералами; и ныне фракция пролетарской партии во Франции устраивает тот же спектакль. Естественно, это компрометирует, деморализует партию»[272]. Поскольку испытание войной позади, а испытание революцией во Франции еще не наступило, и поскольку г-н Клемансо все еще на своем посту, Французская социалистическая партия до сих пор лишь изредка являла нам жалкий спектакль, о котором толкует Бебель. Однако не знаю, повышается ли интеллектуальный и моральный престиж «объединенной» Французской партии

от того, что в ее парламентской фракции бок о бок заседают г-н Блан, открыто заявляющий о том, что он большевик, и г-н Тома, не менее открыто утверждающий, что «победить большевизм — не значит предать социализм, наоборот, сослужить ему службу»[273]. На мой взгляд, более логично, чтобы каждый держался своего, а не чужого мнения. К тому же это замечательное единство настолько бесполезно. И тем не менее я от всей души желаю, чтобы не наступил день, когда французские социалисты увидят то, что увидели немецкие социалисты и мы — русские социалисты: что между ними выросла баррикада.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I СОЦИАЛИЗМ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО: ЖАН ЖОРЕС

Своим огромным талантом, естественным благородством своей натуры, порядочностью своей политической деятельности и личной жизни, размахом и глубиной своих познаний — в которых он был равен Карлу Марксу, если не превзошел его, — ясностью своих политических воззрений Жан Жорес составил себе славу одного из самых чистых деятелей человечества.

Я начну эту главу с той мысли, что красной нитью проходит в данном труде: девизом всех политиков демократического толка должно стать — возврат к Жоресу.

Впрочем, возврат — возможно, не совсем подходящее слово: несмотря на огромное влияние и исключительный престиж французского трибуна, мысли и дела демократов и социалистов никогда не были в достаточной мере проникнуты его идеями. Прошлое принадлежит Марксу, настоящее — увы! — кажется, принадлежит Ленину, и я тешу себя надеждой, что будущее будет принадлежать Жоресу.

Тешусь надеждой, не более того: ничто, к несчастью, не гарантирует сегодня, что в ближайшее время победят его идеи. Оболганный противниками, частенько перевираемый друзьями, прославляемый деятелями из Москвы, Жорес, возможно, не скоро дождется увенчания своей славы реальными делами человечества.

Судьба этого человека вдвойне трагична: какой-то молодчик убил его, большевики вознесли его на пьедестал.

Печатный орган, которым он десять лет руководил, оставаясь непререкаемым авторитетом, с воодушевлением описывал инаугурацию этого памятника в Москве. Он не усмотрел никакого оскорбления памяти великого защитника прав человека в его установке в двух шагах от Лубянки, где Чрезвычайная Комиссия пытает узников, в двух километрах от Петровского парка, где без суда расстреливают « контрреволюционеров ».

По слухам, Троцкий произнес на открытии памятника прекрасную речь: он недолюбливал методы французского трибуна, но отдавал должное его таланту. Пусть всемирный пролетариат простит Жоресу, что он не был большевиком.

Когда скончался Лев Толстой, Николай II, уважительно относившийся к его таланту — совсем, как Троцкий относится к таланту Жореса, — обратился к Всевышнему с просьбой быть милосердным к этому прославленному грешнику[274].

Николай II, испрашивающий у Господа покой для души Льва

Толстого; Троцкий, выказывающий снисхождение к Жоресу: обе эти картины стоят одна другой.

Когда французским делопроизводством была допущена судебная ошибка, пострадавший не был ни пролетарием, ни социалистом: Жорес три года своей жизни посвятил защите богатого человека, офицера, ставшего жертвой правосудия. Это не мешает его ученикам делать из него единомышленника, почти друга тех, кто расправляется с буржуа только потому, что они буржуа, и с офицерами, только потому, что они офицеры[275]. Еще немного, и дойдет до обмена поздравительными телеграммами между «Юманите» и Петерсом[276] на день рождения Жореса.

Ладно, пойдем дальше.

Среди тех, кто за последние двадцать лет вел настоящую антимилитаристскую кампанию (в том смысле, в котором это слово используется в данной книге)[277], среди тех, кто больше других сделал для того, чтобы изобличить и предупредить страшную беду, Жоресу, без всяких сомнений, принадлежит первое место.

Вот что он говорил в Палате депутатов 7 апреля 1895 года:

«Повсюду происходят соревнования за обладание колониями, в которых в чистом виде просматривается принцип великих войн между европейскими народами, поскольку достаточно необузданного соперничества между двумя торговыми фирмами или двумя кланами, чтобы создать угрозу для мира в Европе.

И вы хотите, чтобы война между народами не была готова разразиться всякий день? Хотите, чтобы она не стояла постоянно на пороге, коль скоро в наших обществах, предоставленных бесконечному беспорядку конкуренции, классовых антагонизмов и политических битв, которые часто являются не более чем прикрытиями социальных битв, сама человеческая жизнь не была лишь войной и битвой?»

Три года спустя, на страницах «Птит Републик» (17 ноября 1898 года) он возвращается к этому вопросу:

«Если война разразится, она будет ужасной и охватит большие территории. Впервые это будет всеобщая война, касающаяся всех континентов; капиталистическая экспансия расширила поле боя; вся планета обагрится кровью. Это самое страшное обвинение, которое может быть выдвинуто против капитализма; над человечеством нависла опасность перманентной и с каждым днем все более широкой опасности войны; по мере того как расширяется человеческий горизонт, мрачное облако войны также расширяется и накрывает своей тенью все поля, возделываемые людьми, все города, где они трудятся, все моря, которые бороздят их корабли. Человечеству

не избежать этого наваждения убийства и бедствия, разве что оно заменит капиталистический беспорядок, основанный на началах войны, социалистическим порядком, основанным на началах мира».

За три года до смерти, 20 декабря 1911 года, он вновь убеждал недоверчивых парламентариев:

«Порой слышишь, господа, как легко рассуждают о возможности ужасной катастрофы, которую представляет собой война, забывая при этом, что это было бы явление *новое для нашего мира как по размаху, так и по глубине бедствия... И пусть никто не рисует себе в воображении короткую войну в несколько пушечных ударов или вспышек*; в различных частях света произойдут затяжные и небывалые столкновения, как те, что имели место в Маньчжурии между русскими и японцами. В огромных людских массах начнется брожение, замешенное на болезнях, отчаянии, боли, скорби о погибших, на разорении, нехватке необходимого, связанной с остановкой торговли, производства, пустотой и страшным одиночеством.

Да, господа, зрелище не дай Бог, оно накалит все человеческие страсти. Подумайте об этом, и позвольте сказать вам об этом человеку, преданно служащему идеалам своей партии, убежденному, что необходимо, ради воцарения справедливости и мира среди людей, преобразовать форму собственности, но считающему в то же время, что *было бы благородно двигаться по этому пути эволюционно, без разжигания разрушительной ненависти, которая до этих пор всегда примешивалась ко всем великим историческим движениям, направленным на создание нового в сфере социального*.

Но будем осторожны, ведь именно в лихорадке войн, — во время нашествия в сентябрьские дни, во время войны 1870 года, в России во время русско-японской войны,— всегда и повсюду лихорадка войны являлась причиной социального недуга, заражала человечество, доводя его до пароксизма насилия, и консерваторам в первую голову полагалось бы желать сохранения мира, конец которого выведет на сцену беспорядочные и неуправляемые силы».

Но только ли шовинисты, националисты типа Деруледа порой легко рассуждали о возможности войны на Европейском континенте? Жюль Гед, такой закоренелый марксист, часто антагонистически настроенный по отношению к Жоресу, тоже как будто возводил большие надежды на почве «плодотворной войны». Жорес свел счеты с этой странной формой интернационализма:

«Та же немощь, та же путаница во внешней политике Геда.

Само собой разумеется, он — интернационалист. Он яростно сражается с шовинизмом Деруледа и „патриотов", он указывает на опасность, которой подвергается общество, упражняясь в воинственном шарлатанстве. Но его интернационализм не мирного плана, он позволяет любому европейскому пролетариату приумножить свободы, а через это — собственную мощь, позволяет сконцентрировать на неизбежной смене собственности все запасы нравственной силы и силы бюджетной, которые сегодня поглощаются либо войной, либо вооружающимся миром. Но поскольку не от неуклонного поступательного роста пролетариата и прогресса в области демократических свобод ждет он освобождения наемных рабочих, но от глубоких потрясений, которые заставят забить из расколотой почвы источник революционной силы, широчайшие катаклизмы станут самыми плодотворными. А ведь нет большего катаклизма, чем кровавые столкновения великих народов, которые уже в себе несут внутреннее содрогание, предшествующее будущим социальным войнам. Ибо в войнах, в которых национальные сообщества всемирного капитализма ранят друг друга и разорят одно другого, падут все путы, сдерживающие порыв революционного пролетариата, и из правительственного и капиталистического кокона наций, разорванного военным снарядом, забьет рабочий интернационал.

Какой капитализм возникнет, то есть какая удача для революции, если столкнутся и уничтожат друг друга Россия и Англия! Россия, метрополия абсолютизма, и Англия, метрополия капитализма! Обе оказывают давление на мировой пролетариат и отсрочивают революцию.

Россия представляет опасность для республиканских или конституционных свобод Запада не только своими казаками. Вынуждая Германию, свою западную соседку, держаться постоянно настороже, Россия в некотором смысле оправдывает немецкий военный империализм — сторожа германской независимости, а сам немецкий пролетариат колеблется дать бой империи, страшась, как бы в результате этого колоссального конфликта царизм случайно не низвел Германию до уровня Польши. Англия также оказывает давление на мировой пролетариат, поскольку, приобщив в некоторой мере свой пролетариат к выгодам, извлекаемым из экономического порабощения мира, она замораживает его в духе консерватизма или робкого реформаторства. Падение царизма освободило бы немецкую социалистическую демократию, падение английского капитализма ускорило бы продвижение английского пролетариата по пути революции. И потому Гед радостно

приветствует конфликт, который с 1885 года разгорается между Россией и Англией по поводу Афганистана; он восславляет „плодотворную войну".

Эта гигантская дуэль, далекая от того, чтобы поставить точку на небе революции, на которую не без ужаса взирает официальная Европа, — на руку западному социализму, кто бы в ней ни проиграл из двух „цивилизаторских" государств. Еще лучше, если бы оба были ранены насмерть.

Россия, раздавленная в Центральной Азии, — означает конец царизма, сумевшего выжить после того, как в куски разорвало царя; а вот падения военной мощи, на которую он опирается и с которой составляет единое целое, ему уже не пережить. Аристократы и буржуа, эти два класса, слишком трусливые, чтобы действовать самим, до сих пор лишь попустительствовали нигилистам с их бомбами, и вдруг оказываются во главе страны, у руля, устроенного на западный манер, со всем что полагается — конституцией, парламентом. И первое последствие, неизбежное последствие этой политической революции в Петербурге — освобождение рабочей Германии. Освободившись от московского кошмара, уверенная в том, что ей не будет противостоять армия Александра, идущая вслед за армией Вильгельма, немецкая социалистическая демократия откроет на руинах империи железа и крови революционный бал. Пока же, до поражения кого-либо из дуэлянтов — царские газеты вынуждены признать это, — русское банкротство потрясет старый мир.

Да здравствует война! Последние „опасения" мирного времени развеялись... Теперь исполнится предначертанное. Через несколько дней, никак не позже нескольких недель, московский милитаризм и английский коммерциализм сойдутся для дуэли. И пока, согласно выражению „Таймс", капиталистическая Европа тревожно вглядывается, как растет призрак подобной войны, пока монархизм Солнца, оппортунизм Французской Республики и радикализм Справедливости, в очередной раз придя к соглашению, надсаживаются, крича о „бедствии", мы будем хлопать в ладоши, приветствуя эту дуэль между двумя великими консервативными силами эпохи, и вместе с социалистами с той стороны Ла-Манша и печатным органом скажем: „нельзя ли, чтобы в конечном итоге не один из противников, а оба были окончательно уничтожены? "»[278]

Со всем уважением, с которым должно относиться к характеру и порядочности г-на Жюля Геда, все же нужно сказать, что он сыграл очень плохую шутку как с собой, так и с социализмом. Речь не только о том, что тридцатью годами позже г-н Гед стал министром (разумеется, не мне его в том упрекать) в

кабинете священного союза национальной обороны, сформированного для военного времени, когда Франция бок о бок сражалась с «московским милитаризмом» и «английским коммерциализмом» против немецкого военного милитаризма, «стража германской независимости» (именно так назван манифест 93 немецких ученых и всей реакционной зарейнской прессы). Это скорее факт личного порядка. В приведенном мною выше пассаже одно стоит другого, начиная с точности предсказания («через несколько дней, никак не позже нескольких недель московский милитаризм и английский коммерциализм сойдутся для дуэли») и кончая нравственной позицией, которую социализм обретает в этом по отношению к «монархизму, оппортунизму и радикализму»: и все они перед страшным призраком «надсаживаются, крича о „бедствии"», а тот, в радостном ожидании «революционного бала», заявляет «да здравствует война!» и с удовлетворением констатирует, что «последние „опасения" мирного времени развеялись». Худший враг социализма не придумал бы ничего лучше. К счастью, в социалистической литературе подобные пассажи редки. Однако нужно признать, что в некоторых работах Маркса и Энгельса, особенно в их личной переписке, имеются отрывки, проникнутые тем же духом (г-н Жюль Гед, впрочем, один из самых чистых марксистов). Учителям и самим порой случалось желать какого-нибудь катаклизма: то в интересах национального порядка, то в интересах «революционного бала».

Ленин определенно воспринял этот урок учителей, встал на точку зрения Маркса и именно в этом ключе оценивал некоторые категории войн. «Прежние войны, на которые нам указывают, были „продолжением политики" многолетних национальных движений буржуазии, движений против чужого, инонационального, гнета и против абсолютизма (турецкого и русского). Никакого иного вопроса, кроме вопроса о предпочтительности успеха той или другой буржуазии, тогда и быть не могло; к войнам подобного типа марксисты могли заранее звать народы, разжигая национальную ненависть, как звал Маркс в 1848 году и позже к войне с Россией, как разжигал Энгельс в 1859 году национальную ненависть немцев к их угнетателям, Наполеону III и к русскому царизму»[279]. С другой стороны, Ленин отвечал г-ну Гарденину, который довольно справедливо называл «революционным шовинизмом» идеи Маркса 1848 года в таком ключе: «Мы, марксисты, всегда были и есть сторонники революционной войны против контрреволюционных народов». Вся более чем слабая аргументация Ленина и Зиновьева[280], и вся их пропаганда в

Швейцарии были основаны на признании принципиальной разницы между войной 1914—1918 годов— империалистической и национально-освободительными войнами прошлого, например войной 1870 года, которая, «объединив Германию, выполнила важную исторически-прогрессивную миссию» (Зиновьев[281]). Абсурдность этой аргументации бросается в глаза; ибо, если и существуют прогрессивные войны, то война 1914—1918 годов, давшая свободу Польше, Чехословакии, Югославии, без всякого сомнения, была гораздо прогрессивнее войны 1870 года, которая никого не освободила, зато закабалила Эльзас; милитаризм Вильгельма II был более опасен, чем милитаризм Наполеона III, а г-да Клемансо, Ллойд Джордж и Вильсон, несомненно, меньшие реакционеры, чем Бисмарк.

Мысль Жореса чужда подобному строю идей. Он отвергает любую войну и не строит больших ожиданий на радости от «революционного бала», неизбежно вытекающего из войны. Он никогда не разжигал национальной ненависти, даже к поработителям, как это делал Энгельс, никогда не кричал «да здравствует война!», как Жюль Гед. И в этом жоресизм в очередной раз выше марксизма[282].

«Из европейской войны может выйти революция, и правящим кругам стоило бы об этом подумать; но могут выйти и затяжные кризисы контрреволюции, ожесточенной реакции, национализма, порожденного отчаянием, удушающей диктатуры, безобразного милитаризма, долгая череда ретроградных насильственных действий и низких ненавистнических настроений, репрессий и потерь национальной независимости. Мы же не хотим играть в эту варварскую азартную игру, не желаем подставлять под удар кровавых костяшек надежду на освобождение пролетариата, убежденность в справедливой автономии, которую гарантирует всем народам, всем малым народным образованиям, поверх разделов и расчленений, полная победа европейской социалистической демократии »[283].

Иначе как пророческими эти слова великого оратора и не назовешь. Однако он всегда верил, что человечество избежит мировой войны. Это было бы слишком глупо, значит, этому не бывать, — как будто бы думал он. Это было бы слишком глупо, значит, это будет, — сказал бы кто-нибудь вроде Шопенгауэра.

«Жорес прекрасно знал, что война стала бы работать на пользу его партии. Но не желал связывать с такой ценой развития своих самых дорогих идей», — сказал Анатоль Франс[284]. При восприятии этого мнения следует проявлять осторожность: война поработала на социализм в том смысле, что разжигала в массах ненависть против режимов, развязавших ее. Но она поработала, и

это гораздо важнее, *против социализма* в том смысле, что разрушила моральные основы и экономическую базу, на которых должен основываться социализм. И по этой причине Жорес посвятил столько сил борьбе с войной и предупреждению ее. Он был прав. Он не добился успеха. И стал жертвой.

«Это предначертание не осуществилось, и его душа, прекрасная, как мир, покинула его тело» (Анатоль Франс).

Бытует мнение, что политическая деятельность Жореса прошла три фазы (если не считать периода, предшествующего его вступлению в социалистическую партию): революционный период — с 1893 по 1898 год, длившийся с момента вступления в партию до прихода к власти министерства Вальдек-Руссо — Мильерана; оппортунистический и реформистский период, длившийся до 1904 года, года Амстердамского съезда; и новый революционный период — объединенного социализма, в котором его и застала смерть.

Это может быть верно, пока речь идет о внешних проявлениях деятельности великого французского трибуна. Но учение и идеи Жореса гораздо более цельны, и даже его парламентская юность, когда он находился среди центристов и поддерживал политику Жюля Ферри, не отличается очень уж сильно от всей остальной жизни. В этом смысле он, несомненно, имел право сказать то, что сказал[285]: «Я всегда был республиканцем и всегда социалистом; социальная Республика, Республика организованного и суверенного труда всегда была моим идеалом. И ради нее с первого же дня, со всей моей неопытностью и невежеством я дрался».

«Если неверно, что я перешел от доктрины и программы левого центра к доктрине и программе социализма, неверно также и то, что я советовал и исповедовал сам, с 1893 по 1898 год, метод грубой революции и непреклонной оппозиции, чтобы принять затем смягченную форму реформизма и ритм эволюции. Конечно, в волнении первых больших социалистических успехов 1893 года у меня порой возникала иллюзия полной победы, близкой к нашему идеалу и слишком легкой. В огне борьбы с реакционными правительствами, бросавшими нам вызов, угрожавшими нам, заявлявшими о том, что вышвырнут нас из Республики, поставят нас вне закона, вне национальной жизни, я обратился с зовом к энергии пролетариата, как и завтра бы воззвал к нему, если бы власти заявили о запрещении свободной легальной эволюции в сторону коллективизма и рабочего класса. Но во всех моих речах этого бурного периода, гордость за который до сих пор еще вызывает во мне волнение, без труда отыщутся все черты нашей сегодняшней политической

деятельности.

Это все та же главная забота о том, чтобы связать социализм с республикой, дополнить политическую демократию социальной демократией. Это все тот же призыв к силе республиканской легальности, если только эта легальность не приневолена бесстрашием ретроградских партий и не деформирована их вероломством».

В этом весь Жорес, весь завет его мысли и деятельности:

Социальная демократия как логическое и непременное продолжение политической демократии. Реформа там, где существуют условия свободной борьбы идей перед лицом общественного мнения, которое принимает решение. Угроза революции там, где существует угроза этим условиям. Революция там, где они не существуют.

К этой программе современной политической мысли, обогатившейся огромным опытом 1914—1918 годов, нечего добавить. Это программа сегодняшнего дня, да и завтрашнего.

Жорес был побежден в 1904 году в Реймсе и Амстердаме объединенными усилиями Жюля Геда и Вайана, Бебеля и Каутского. По какому вопросу? По вопросу участия социалистов во власти вместе с *буржуазными* министрами. А в 1915 году Жюль Гед стал коллегой господ Бриана, Рибо и Дени Кошена, его действия были одобрены и поддержаны Вайаном; что до немецких непримиримых, то живи сегодня Бебель, он непременно стал бы нынешним государственным канцлером, если не президентом Германской республики. А г-н Каутский, хоть и с оговорками, ныне выглядит довольно-таки по-министерски и способен стать министром.

Жизнь доказала, что неучастие социалистов во властных структурах не является принципиальным вопросом и символом фанатичной веры, но является одним лишь вопросом чистой тактики, зависящим исключительно от политических обстоятельств. Жорес, возможно, допустил когда-то тактическую ошибку, защищая право вхождения г-на Мильерана, в то время социалиста, в состав кабинета Вальдек-Руссо — Галифе. Но в принципе он был прав.

Роль Жореса в деле Дрейфуса, — второй вопрос тактики, разводивший его тогда с Жюлем Гедом и Вайаном, — сегодня никем не подвергается сомнению. Известные слова «Жорес спас честь французского социализма своим участием в Деле» общепризнанны. А тирады Жюля Геда, министра в национальном кабинете войны, направленные против Жореса и защищающие капитана Генерального штаба[286], странным образом утеряли свою значимость.

Но помимо этих двух вопросов тактики между *жоресизмом* и *гедизмом* он поднял два вопроса теории, которые с тех пор не утратили своей важности. Два вопроса... пожалуй, они могут быть объединены в один — это классовая борьба и революция.

Над реформистским социализмом нависло одно недоразумение, которому способствовали сами его сторонники: оно из области их концепции борьбы классов. Разницу между революционерами и реформистами усматривали в том, что первые признают, а вторые не признают «борьбу классов».

Недоразумение, как это часто бывает, кроется в двусмысленности самого слова *признавать*. Для меня этот вопрос вообще не имеет смысла.

Борьба классов — факт, который любой здравый человек не может не признавать. Можно построить на этом факте преувеличенные надежды, как это делают марксисты. Можно о нем сожалеть, как это делают христиане. Но отрицать его нельзя.

Добровольное сотрудничество классов сегодня, как общее правило — утопия. Русская революция показала, что буржуа в своих desiderata[287] чаще всего такие же максималисты, как и пролетарии: одни желают получить все, другие не хотят ничего отдавать. Я был свидетелем вопиющего примера глупости и буржуазного максимализма на Украине, после того как немцы выгнали оттуда большевиков и посадили генерала Скоропадского. Капиталисты, промышленники, помещики доказали глупость, поверив[288] в стабильность режима гетмана, существовавшего благодаря иностранной вооруженной силе; они доказали в большинстве своем свой максимализм, отомстив рабочим и крестьянам за все унижения, которые им пришлось пережить за недолгий большевистский период. Ныне, разумеется, происходит обратное; так зверства помещиков чередуются с крестьянскими жакериями. Но можно ли упрекать неграмотных крестьян и рабочих в том, что они недостаточно интеллигентны и слишком максималистски настроены по сравнению с образованными капиталистами? Правда, буржуазия в России самая неумелая, с точки зрения политики, во всей Европе.

Позволено все же надеяться, что урок этот не пройдет даром. Сотрудничество классов, осуществляемое добро- вольно, — есть и долго еще будет утопией, но не доказано, что борьба классов непременно должна вытекать из мирных форм выборных и парламентских битв. Революция слишком дорого стоила буржуазии, чтобы она решилась с легким сердцем пойти на отмену всеобщего избирательного права, хотя кое-кто из ее идеологов желал бы этого. Значит, можно надеяться, что всеобщее избирательное право будет признано обоими лагерями

как стержень политической борьбы.

Такова была, я думаю, *главная концепция* Жореса. Нужно заметить, что у французского трибуна можно найти фразы, которые не вписываются в эту концепцию. Жорес, бывший человеком чудодейственной активности, много писал и еще больше говорил. Ему часто случалось — он сам это признавал, — писать и говорить в спешке. И потому было бы неправильно судить о его доктрине по отдельным фразам, которые вырывались у него в пылу полемики. Это, осмелюсь сказать, революционные фразы облегченного типа, есть они и в его трудах. Я не очень люблю некоторые страницы его «Истории Французской революции». Это трудоемкое и насыщенное знаниями произведение, отличающееся великолепным красноречием, тонкостью и иронией. Несмотря на свой необычный титул *социалистической* Истории, оно написано беспристрастно. Но Жорес в позе *монтаньяра* мне так же чужд, как Анатоль Франс в позе *товарища*. Не по мне и культ, которым Жорес окружил Дантона: с последним у него общего разве что красноречие (как, однако, тонкое остроумие Жореса отличается от вульгарного остроумия Дантона). Не по себе мне, когда этот «дрейфузар» выступает строгим судией жирондистов, которые «в час, когда революционное сознание нуждалось в собранности, единении и порыве, предлагали ему загадку сентябрьских дней, в которой ответственность партий и людей почти не подлежит разгадке».

Фразы, подобные этой, никогда не вводили в заблуждение тех, кто чистосердечно искал подлинного Жореса. Г-н Шарль Раппопорт, не являющийся ни реформистом, ни умеренным, в очень документированной и содержательной книге, посвященной им прославленному оратору, говорит о его «органично реформистской концепции» после, как и накануне Амстердамского съезда[289] и называет его «Прометеем эволюции».

Впрочем, дадим слово самому Жоресу: «Необходимо, чтобы будущая революция также действовала на основе легальности. Организация пролетариата в партию классового характера вовсе не предполагает непременного использования насилия... Нет ничего, что в этом вопросе исключало бы идею эволюции и легальной политики всеобщего избирательного права. Используя насилие, пролетариат сознает, что усугубляет положение, сея панику».

«От потрясений, способных взорвать современное общество, нечего ожидать: после устрашающего раскачивания в разные стороны, оно вновь обретет равновесие, полностью или частично. Пролетариат придет к власти не с помощью непредвиденного

контрудара, вызывающего политическое брожение, а с помощью методической и легальной организации своих собственных сил.

Если предположить успешный силовой удар, успех все одно не будет продолжительным и не будет иметь будущего... Имеются мелкие собственники даже в деревнях. Если меньшинство нанесет вдруг удар по капиталистической собственности, повсюду вспыхнут неожиданные очаги сопротивления. Только посредством четких и тонких соглашений, учитывающих их интересы, средних и мелких собственников можно заставить согласиться на превращение капиталистической собственности в общественную. А ведь эти соглашения, эти гарантии могут быть введены лишь на основе свободного обсуждения и свободного волеизъявления большинства нации...»

«Помимо конвульсивных порывов, не поддающихся предвидению и каким-либо правилам... для социализма сегодня есть лишь одно суверенное средство: законно завоевать большинство. *Революционный призыв к силе*, — цитирует Жореса г-н Леви Брюль, у которого я позаимствовал эту цитату, — *может быть сегодня для пролетариата лишь чудовищной мистификацией*».

Жаль, что большевики не выбили эти слова Жореса на памятнике, который возвели ему в Москве.

Глава II МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ ИДЕИ

Усилия теоретиков в области политики должны быть в наше время направлены на то, чтобы извлечь уроки из последних пяти лет, самых необыкновенных из всех, что знает история. Будущее человечества зависит от того, какие уроки оно вынесет из них.

Правда редко возникает от лобового столкновения мнений. В политике почти никогда. Но столкновение *событий* — еще лучший урок для тех (они редки), кто искренне ищет и надеется найти в политике правду. Неудобство этого способа обучения в том, что он несколько дорого обходится человечеству.

Ясно, что время, в которое нам выпало жить, будет расценено историками как эпоха *кризисов*. Вико поместил бы ее без колебаний в категорию критических эпох как модель таковых.

Нет ни одной общей идеи, политической концепции, ни одного социального учреждения, которые не были бы более-менее поколеблены страшным испытанием 1914— 1919 годов. Есть такие, которые основательно пострадали или были вовсе унесены с пути развития Европы, я не скажу навсегда, поскольку этому слову не место в науке об обществе, но надолго, без всяких сомнений.

1. Абсолютизм из их числа, как деспотический и средневековый абсолютизм Николая II, так и «просвещенный» и современный абсолютизм Вильгельма. Эта политическая идея мертва: правительственная форма абсолютизма, кажется, более не находит в наши дни здравых защитников. Бональды, Стали, Мэстры, Победоносцевы ушли в прошлое. Их духовные дети осмеливаются внести в программы своих партий лишь конституционную монархию на английский лад. Божественное право более не в ходу в Европе: к нему добавляют, чтобы сделать его более практичным, определенную долю демократии. Ближайшее будущее докажет, обладает ли прочностью этот сплав.

2. Другим вредоносным идеям повезло больше. Впрочем, для некоторых из них проверка далеко не окончена. Так вряд ли с определенностью можно высказаться по поводу уровня стабильности идола, носящего неопределенное название *империализм*. Никакое другое *слово* не было дискредитировано больше, чем это, в умах масс в эти пять военных лет.

3. А капитализм? Среди социалистов были такие, — причем их было немало,— кто знать ничего не знал о мощи и гибкости нынешнего экономического строя. Столько говорили о «присущей ему изнутри дезорганизующей силе», что, в конце концов, уверовали в это до такой степени, что сочли его неспособным сопротивляться сколько-нибудь серьезному испытанию. А ведь испытание было более серьезным, более страшным, чем можно было предвидеть. Что же оно показало?

Оно, безусловно, показало нравственное и интеллектуальное падение нашей такой гордой цивилизации. Но ответственность за это падение не на капиталистическом строе. Увы, справедливее было бы говорить о падении человечества; ибо для идеалистов, для тех, кто считал его добрым и прекрасным, человечество, несомненно, обанкротилось, явив себя уродливым и жалким.

Но оставим нравственную и интеллектуальную стороны вопроса. Мы рассматриваем здесь наш современный экономический строй с точки зрения стабильности и мощи. Признаем же, что он оказался гораздо более стабильным и гибким, чем считали не только его противники, но и защитники.

Капиталистическому строю удалось выдержать огромную катастрофу, обрушившуюся на него, которую он, по крайней мере, частично и без всякой жизненной необходимости сам же и спровоцировал. И он сумел адаптироваться к новым задачам, очень искусно, смело и с головокружительной быстротой видоизмениться: немецкий Kriegssocialismus — яркий тому пример[290]. Для него это было необходимостью: без героических мер *национализированного капитализма* ни одна страна не смогла

бы сопротивляться войне; заблокированная Германия со старой системой «свободной игры экономических сил» была бы уничтожена в несколько недель. Но это же стало для капитализма и очень большой опасностью; его врагов прельстил его пример, которому, впрочем, они не смогли и не сумели последовать: у Ратенау был в учениках Ленин[291].

Ученик оказался менее ловким, чем учитель.

Час *чистого* капитализма пробил 1 августа 1914 года, как и чистого божественного права. Начался час сплава различных систем — час *амальгамы*; по сути национализированный капитализм менее нелогичен, чем сплав божественного права с парламентаризмом.

4. Какова была судьба принципов демократии?

В последнее время много говорилось о кризисе демократической идеи; опыт страшных лет позволил увидеть чрезвычайную нестабильность, непостоянство идей народных масс. Россия явила тому самый яркий пример. Военный шовинизм 1914 года, несколько дней освободительного и патриотического экстаза в марте 1917 года, пацифизм с большевистским привкусом к концу того же года, полная прострация сегодня— таковы этапы развития русского мировосприятия в короткий отрезок времени: выборы, основанные на всеобщем избирательном праве и проведенные с годовыми интервалами могли дать противоречивые результаты. В других странах эти противоречия были не так заметны. Однако во всех странах наметился явный психологический сдвиг: достаточно сравнить немецкие или американские газеты за 1914, 1917 и 1919 годы, чтобы убедиться в этом. Социалистические органы печати, как и социалистические массы, претерпели те же изменения: «Форвертс» или «Юманите» сегодня говорят совсем другим языком, не тем, что был им свойствен в начале войны.

Во всех странах массы людей были вовлечены в войну с невероятной легкостью, какой не могли предвидеть даже скептики. Сила сопротивления ментальной заразе интеллектуалов, реальной или воображаемой, оказалась минимальной; влияние на умы правительственных органов и прессы превзошло все мыслимые нормы. Пресловутое политическое воспитание старых парламентских народов было не чем иным, как пассивностью. Все это точно.

И, однако, этого вовсе недостаточно, чтобы можно было говорить о кризисе демократической идеи. Для начала: политические формы, которые обычно противостояли демократии, рухнули самым показательным образом. Далее: всеобщее избирательное право со своими непредвиденными

скачками и тяжелыми ошибками в целом доказало прочность здравого смысла. Не он привел к войне, война была объявлена немецкой исполнительной властью. Народы и парламенты ее приняли как свершившийся факт. Могли ли они поступить иначе? Они высказали по этому поводу, в частности в Германии, непонятную радость и легкомыслие. Но уже когда война разразилась, это был единственный способ довести ее до благополучного исхода. Война стала страшной катастрофой, не могущей нести с собой ничего веселого, это само собой разумеется. Но чтобы не проиграть в ней, не ввергнуть свой народ в рабство, нужны были прежде всего воодушевление и доверие. Парламентские ассамблеи всех стран сделали все, чтобы поднять дух масс и обеспечить их доверие к руководителям страны. Невзирая на тяжелые огрехи, допущенные немецкими парламентариями, это была приемлемая позиция.

Когда явилась «опасность иного рода», когда искушение большевизмом замаячило перед народами, всеобщее избирательное право дало доказательство, — на мой взгляд, почти последнее, — присущего ему здорового начала. И не случайно народные комиссары в России и Венгрии и их соревнователи в Германии должны были провозгласить: «Вся власть Советам!» Это оттого, что повсюду всеобщее избирательное право принесло большевикам лишь тяжелое разочарование. Даже в России выборы в Учредительное собрание, прошедшие после октябрьского государственного переворота, под сильным давлением большевистских властей, обеспечили прочное большинство противникам большевиков. В Германии выборы нанесли тяжелейший удар сочувствующим большевистским идеям. Это позволяет утверждать: что бы ни говорили, всеобщее избирательное право и демократические принципы не развеяли надежд, возлагаемых на них.

Последователь Лейбница сказал бы, что имеется некая предустановленная гармония между народным умонастроением, выражающим себя посредством всеобщего избирательного права, и уровнем социальных реформ, осуществляемых в определенную эпоху. Так, возможно, что немецкое Учредительное собрание проголосует за все реформы, которые экономическое и политическое состояние Германии позволяет реализовать: демократическая республиканская конституция, фискальная реформа, позволяющая перенести основной груз налогов на имущие классы, конфискация военных бенефиций, национализация отдельных промышленных предприятий, развитое законодательство в области труда.

Однако самое трудное испытание, которое выпадает на долю

всеобщего избирательного права, будет иметь место в России. Если русский народ, являющийся при всех своих достоинствах одним из самых отсталых в Европе, вынесет, после всего того, что уже выпало на его долю, испытание всеобщим избирательным правом, не погрязнув в реакции и монархии, если он сохранит с помощью голосования республику, свободу и федеральную конституцию, демократические принципы одержат победу, которую мы не преминем определить как решающую.

5. Социалистические принципы также сегодня пребывают в кризисе. Однако даже доводы, которые заставляют говорить ныне о крахе социализма, нам представляются довольно-таки непонятными. Несмотря на многочисленные ошибки, допущенные повсюду социалистами (как и другими партиями), два неоспоримых факта главенствуют в современной политической философии:

а) *война ясно показала пороки старого мира, которые социалистами всегда изобличались*; б) *революция показала необходимость социальных реформ, вписанных в программы социалистических партий*[292].

В этих условиях, каковы бы ни были ошибки и иллюзии адептов социалистической идеи, она, возможно, лучше других идей преодолела великое испытание.

6. Напротив, по поводу революционной идеи можно, по крайней мере в теории, говорить о полном ее крахе. Пример России погубил великую и славную легенду.

Мне представляется бесполезным настаивать, после всего того, о чем было сказано в данной работе, на характере большевистской революции. Речь только о том, чтобы поставить следующий вопрос: неизбежен ли был подобный плачевный конец революции?

Ответ: да. Учитывая прежде всего страшный груз военных лет и невозможность в моральном плане для руководителей первого периода революции 1917 года заключить сепаратный мир, русская революция неизбежно должна была войти в большевистскую фазу развития. Тяжелые и многочисленные ошибки были допущены, они ускорили падение правительства и переход власти в руки Ленина. Но сам по себе сепаратный мир с Германией *возможно* мог предотвратить этот финал. Искушение миром, сделавшее карьеру Ленина, было слишком сильным для народа, обескровленного тремя годами войны.

Если в Германии революция до сих пор шла по иному пути, чем в России (хотя схожесть между нравственными аспектами обеих революций ярко выражена), факт этот в меньшей степени вытекает из различия в национальном характере и уровня

цивилизованности обеих стран, чем из существовавших там соотношений между революцией и войной: в России Львов, Савинков, Керенский хотели и должны были продолжать войну, тогда как Ленины и Троцкие обещали массам немедленный мир и этим прежде всего одерживали верх над идейными противниками. В Германии революция ноября 1918 года наметила себе с самого начала цель — немедленный мир, и те, кто тогда пришел к власти, начали с того, что подарили народу внешний мир и внутреннее успокоение, тогда как их противники спартаковцы не скрывали своего желания погрузить страну в пропасть гражданской войны, чьи «благодетельные» последствия уже дала ощутить русская революция; что до внешнего мира, то тут была занята двусмысленная позиция, доходящая даже до объявления *священной войны* «капиталистам Антанты», в союзе с пролетариями всех стран. Превосходство большевистской тактики над тактикой спартаковцев в этом проявилась в очередной раз; и лишь позднее, когда большевистская власть уже оформилась организационно, Ленин мало-помалу достал козыри гражданской войны: его кампания с апреля по октябрь 1917 года прежде всего вдохновлялась идеей немедленного мира с Германией. Спартаковцы, напротив, будучи не в силах увлечь немецкий народ обещанием внешнего мира, поскольку другие уже заключили перемирие, имели неосторожность испугать народ внезапным появлением дискредитированного до того призрака гражданской войны и даже «священной» войны. Самые недальновидные дошли до обещания появления на Рейне великолепной армии Троцкого, призванной сокрушить империалистов Антанты. Но народ, измученный войной, не поддался на эти столь заманчивые обещания и до сего времени следовал за теми, кто обещал внешний мир и внутреннее успокоение.

Но в таком случае, если русская революция должна была неизбежно привести к большевизму, возможно, было ошибкой или даже преступлением устраивать ее?

Есть несколько ответов на этот будоражащий вопрос. Можно ответить, и отвечают, что никто не *устраивал* эту революцию; она сделалась сама собой. В какой-то мере это верно. Еще говорят, что революция была сделана теми, кто стал первыми ее жертвами: царем и его министрами. И это верно. Говорят, что со всеми теми катастрофами, к которым она привела, революция все же лучше, чем стоячее болото старого режима, ибо «путь к лучшему пролегает через худшее». Это мнение высказывал в весьма трогательной форме в своем дневнике в заточении несчастный Шингарев, депутат от кадетов, брошенный в тюрьму без всяких оснований «великими» большевиками и зарезанный в

больнице «мелкими». И в этом тоже есть своя правда. Можно сказать, наконец, что с точки зрения национальной, революция явилась бедствием и преступлением, поскольку привела Россию к расчленению, разрухе и неслыханным несчастьям. Таков будет ответ на поставленный вопрос со стороны наших Бюрке, наших консерваторов и наших умеренных либералов, которых нам не следует поддерживать.

Но главное не тот вердикт, который вынесет русской революции история, главное — урок для будущих поколений. А урок этот состоит в следующем: *Нравственный и политический итог революций, свергающих деспотизм, может быть и чаще всего бывает позитивным, несмотря на их очень тяжелое отрицательное содержание, поскольку деспотические режимы сами по себе являются медленными революциями и несут на себе самую большую часть ответственности за те страшные последствия, к коим приводят. Но в странах, где правит всеобщее избирательное право и гарантирована свобода слова, — эти два мощных инструмента освобождения человечества, — любая революция — катастрофа, а всякий призыв к революции — преступление*.

В настоящем состоянии нравственного и интеллектуального развития человеческого рода революция сопровождается страшным необузданным шлейфом преступлений, огромным количеством жертв, разрушением, ненавистью, обманом, циничной демагогией, делающими людям невыносимой саму мысль о ней — зачастую вполне достойную; она приводит лишь к резне, дикости и всеобщей политической прострации.

Таков критерий, применяемый нами ко всем прошлым и будущим революциям.

Русская революция марта 1917 была благом, поскольку опрокинула один из самых губительных деспотических режимов истории. Немецкая революция также была благом, поскольку заменила свободным республиканским строем Империю Вильгельма II, его почти абсолютистское правление , погрузившее мир в траур и предавшее Европу огню и крови. Но большевистская революция и революция спартаковцев были бедствием и преступлением, оттого, что были направлены против строя, основанного на суверенитете народа, обладающего всеми возможными гарантиями для борьбы идей и политических тенденций.

— Но в таком случае, если революционная идея, по- вашему, провалилась, что вы предлагаете вместо нее, чтобы продвигать человечество к лучшей доле? Неужто вы возвращаетесь к устаревшим и наивным (если не лицемерным) идеям *сотрудничества классов*? Правящие классы никогда не пожелают

отречься от своих вековых привилегий в пользу коллективизма. Утопия думать, что капитализм может быть уничтожен без гражданской войны. Как вы представляете себе это: наши миллионеры безропотно склонят голову перед силой вашего убеждения? (это ленинская мысль).

Я не представляю себе ничего подобного. Не представляю себе, чтобы капитализм мог быть уничтожен *гражданской войной*, которая, в конечном счете, лишь утверждает идеи охранительного толка. Эта книга вообще построена на очень четком distinguo[293] между тем, что есть, и что было бы желательно. А что касается пресловутого классового сотрудничества, оно, безусловно, крайне *желательно*: мир всегда лучше ссоры. Но в настоящий момент я его вижу возможным лишь в нескольких исключительных случаях, слишком редких, чтобы можно было взять их за основу политической и социальной доктрины. Нравственное и интеллектуальное состояние человечества сегодня не позволяет строить большие надежды на ближайшее будущее. Что до далекого будущего, то ни я и никто, кроме разве что ораторов на митингах, не знает, что нам уготовано.

У меня не больше, чем у Ленина, веры в доброту и чувство справедливости миллионеров. Как и в добродетель и великодушие пролетариата, так им расписанные; я совсем не верю, что серьезное политическое учение может вообще быть основано на этих чувствах. Только на здравый смысл и прежде всего на чувство заинтересованности следует ему ориентироваться; да и, как показывает опыт, даже в этом случае у него не всегда есть шанс быть выслушанным. Человечество ведомо атавистическими инстинктами, заразными течениями из области духа, которые материалистическая доктрина всегда игнорировала и которые война всколыхнула со всем тем ужасным, что в них было заложено. Разум всегда запаздывает, как полиция на место преступления. Но все же он появляется, и не доказано, что человечество абсолютно неспособно извлечь хоть какую-то выгоду, какой бы минимальной она ни была, из суровых уроков, преподнесенных ему.

Да, те, кто заявляет, что при современном состоянии человеческого общества можно заменить борьбу классов их дружеским сотрудничеством, — являются утопистами. Но недостаточно признать существование борьбы классов. Речь идет о том, чтобы понять, в каких формах ей желательно разворачиваться. Я думаю, в ближайшем будущем, начиная с сегодняшнего дня, принцип, который послужит разделению прогрессивных людей в демократических странах на две четкие категории, будет иметь отношение к тому, в каких формах

желали бы они видеть борьбу классов.

Первостепенный вопрос: хотите ли вы, чтобы борьба классов приняла формы революции со всем тем, что содержит в себе это потрясающее воображение слово? Если да, вам по пути с Третьим Интернационалом, с Лениным. Если нет, вы принадлежите к антибольшевистскому лагерю.

Ведь слово «революция» в свободной и демократической стране включает в себя все составляющие учения Третьего Интернационала: вооруженное восстание, абсолютное отрицание принципа всеобщего избирательного права, диктатура пролетариата, советская конституция, гражданская война, уничтожение свобод, даже террор.

Это настолько очевидно, что с удивлением задаешься вопросом: как социалистические партии, которые заявляют о себе, да и являются по своей сути антибольшевистскими, могут вводить в свои программы формулировки о диктатуре пролетариата или потрясать призраком социальной революции— разумеется, в неопределенном будущем? Ибо дилемма очень проста: или же революция желает реализовать идеи и чаяния большинства граждан, тогда в демократической стране, то есть такой, где всеобщее избирательное право на высоте, она — политическая глупость; или же революция ставит себе целью навязать большинству волю меньшинства, и тогда она упраздняет всеобщее избирательное право, вводит диктатуру (так называемую диктатуру пролетариата), заменяет Советами парламент и т.д., согласно учению Ленина.

Но какой-нибудь социалист, из учеников Каутского, смог бы мне сказать: вы забываете о сопротивлении огромной инерции капиталистического строя. Думаете, для буржуазии принцип суверенитета народа будет священной и неприкасаемой догмой? Она использует этого идола, пока он не представляет для нее опасности; но в тот день, когда Учредительное собрание, вышедшее из всеобщего избирательного права, пожелает лишить буржуазию ее привилегий, вы увидите, что она сделает и с самой догмой, и с собранием. Тогда революция уж точно будет иметь место.

Я никогда не говорил, что большевики есть только в лагере Ленина. У буржуазии тоже есть свои большевики, и возможно, в критическую минуту она прибегнет, для удержания себя на плаву, к ленинским методам. Тогда, безусловно, будет необходимо применить против нее силу, как сегодня ее применяют против кремлевских диктаторов. Но в этом случае революция в любом случае будет совершена большевиками — буржуазными. И мне вовсе не кажется, что это будет фатальный и неизбежный выход

из наших социальных конфликтов. Прежде всего я не думаю, что эти конфликты примут форму волшебного и немедленного театрального превращения, которое в один день «экспроприирует экспроприаторов», согласно знаменитой формулировке упрощенческого типа. Перед нами, очень возможно, долгая и медленная череда глубоких реформ, каждая из которых, безусловно, потребует тяжелых жертв со стороны привилегированных классов к выгоде большинства. А ведь крупная буржуазия могла обдумать ужасные уроки последних лет, и совсем не обязательно желает прибегнуть к силовому удару с огромными последствиями, а не подчиниться воле народа. У нее в памяти останется судьба тех правителей с крепкой хваткой, которые пожелали руководить страной во имя меньшинства против большинства: Николай II, Вильгельм, Ленин.

В этих условиях не нужно терять надежду на возможность прогресса, который обойдется без силовых ударов и революций. Борьба идей в условиях равной для всех свободы; борьба классов, если нужно, ожесточенная, но без поножовщины и пулеметов, такая, которую ведут двадцать пять солдат Гуттенберга и избирательный бюллетень, — такова наша программа.

— Вы заявили, что отталкиваетесь от четкого distinguo между тем, что существует в реальности, и тем, что желательно, — заявит мне скептик. — Но вы согласитесь, что ваша программа, весьма *желательная*, кажется довольно далекой от того, что есть на самом деле. Мир, увы! — кажется, принадлежит ножам и пулеметам. Революционные идеи победоносно шествуют повсюду. Революции будут всегда, как и войны.

У меня нет намерения уличать в чем-либо этого скептика. Скептики, как и мизантропы, чаще всего правы. Я не думаю, однако, что мир должен всегда подчиняться пулеметам. У пулеметов есть один недостаток, или, вернее, достоинство — со временем они утомляют. Два года, пять лет, десять лет, а потом даже самые оголтелые и глупые начинают ощущать, что с них хватит. Возможно, войны и революции неизбежны, но это недоказуемо. В любом случае это зависит, по крайней мере, на определенном уровне, как бы мал он ни был, от того, что пожелают провозгласить интеллектуалы всех стран в своих программах и своих формулировках. Я достаточно близко наблюдал кухню русской революции, чтобы судить о роли, которую могут играть интеллектуалы. А события были довольно яркими, чтобы можно было извлечь из них урок: она не изменит лицо мира, довольно того, что она служит для нас правилом поведения. Я считаю, что социалисты всех стран (я говорю лишь о тех, что являются противниками большевиков) чрезмерно

злоупотребили идеей социальной революции. Вольно было им говорить о ней без указания — когда и как. Но час настал, опыт поставлен. Мы теперь знаем, что это такое — социальная революция. Нужно, чтобы это словосочетание вообще исчезло из нашей политической речи. Мы отвергаем этого идола не во имя консерватизма, как это часто делалось, а во имя освобождения человечества.

Подойдя к концу нашего исследования, мы хотели бы набросать позитивную программу, во имя которой критиковали ленинизм. Само собой разумеется, речь идет лишь о некоторых основных моментах, не более того.

Мир рухнул. Нужно помочь ему выйти из руин. К всеобщей нищете добавился страшный кризис производства. Даже социализм ныне столько же проблема производства, сколько проблема распределения. Во всех странах самой насущной в данный момент является задача отыскать средства для увеличения производительных сил. В таких странах, как Россия, обладающих огромными природными ресурсами, почти нетронутыми, эта задача решается легче, чем где бы то ни было. В старых цивилизованных государствах, таких как Франция, Германия, Англия, где природные богатства наперечёт[294] и почти выработаны, эта задача будет посложнее. Либо придется черпать в колониях, либо находить что-то новое, вроде того, что вошло в практику в годы войны, когда с помощью ученых, например, использовался атмосферный азот. Война умножила интеллектуальные способности человечества, направив их в основном на цели разрушения, но в малой степени и на созидание. Ныне мы проходим такой период, который, не будучи столь же кровавым, как предыдущий, все же не менее опасен и требует не меньшей изобретательности со стороны ученых. С той лишь разницей, что теперь их созидательная деятельность пойдет на дело разрушения; многие ученые, прежде ощущавшие отвращение, скорее инстинктивное, чем осознанное, когда приходилось заниматься проблемами отравляющих газов, взрывчатых веществ и подводных мин во имя суровой необходимости, теперь с большим энтузиазмом отдадутся своему труду[295].

По этой причине первой заботой умных правительств (если таковые найдутся) будет оделить науку средствами, не считая, — науку как чистую, так и прикладную, ведь невозможно предвидеть, какие практические выходы могут дать *бесполезные*, на первый взгляд, исследования. Однако до сих пор предпринимались лишь противоположные действия. Экономные правительства стали урезать кредиты университетам.

Один крупный физик мирового уровня недавно жаловался, что с нынешним финансированием ему едва хватает средств на оплату лаборанта; а о дорогостоящих экспериментах, новых инструментах и тому подобном нечего и думать. Кто-то решил, что его изыскания носят абстрактный характер (конечно же, таково было решение министров, компетенция которых общеизвестна), то бишь они бесполезны, а значит есть возможность сэкономить на них.

Умное правительство даст науке, несмотря на жалкое состояние бюджета, не миллионы, а миллиарды. Оно создаст новые школы и кафедры, а также лаборатории, где не только студенты и ученые с именем смогут применить свои знания, но и все, кто доказал, что способен послужить на этом поприще. Оно создаст в своей стране такой климат, при котором в нее начнется приток интеллекта; до сих пор лучшие силы поглощала политика — карьера более прибыльная и шумная. Оно будет «по-королевски» воздавать им за их труд («по-республикански» получается слишком мало), оно учредит премии, введет систему вознаграждений за полезность открытий для общества, как и за открытия в области чистой науки. Оно станет покупать, издавать результаты их труда, дабы предохранить ученых от капиталистической эксплуатации.

Разумеется, мелочными выглядят разговоры о вознаграждении за научный труд; всем известно, что ученые, как и политики, стремятся к выполнению прежде всего долга. Но поскольку события последних лет заставили нас несколько пересмотреть вопрос о благородстве человеческой натуры, а война и революция слегка поистощили запас идеализма, бывший багажом наших современников, думаем, что высокая заработная плата и щедрые вознаграждения ничего не испортят. И безусловно, гораздо лучше оплачивать подлинных исследователей, чем тех, кому мы обязаны сегодняшним своим состоянием. Не следует пугаться цифр; да и кого они сегодня пугают? Великие державы в долгах — от двух до трех сотен миллиардов на счету каждой, и погасить их возможно не только за счет одной лишь экономии, но и с помощью внедрения научных открытий в производство. Сколько ухнули на Гинденбургов и Людендорфов? И не сосчитать. Так дайте Эдисонам и Пастерам. Уж, во всяком случае, это будет не худшим вложением.

Вторая задача величайшей значимости, встающая ныне перед законодателями всех стран, — воспитание подрастающего поколения. То поколение, что прошло испытание 1914—1919 годами, со всем проявленным им героизмом, не всегда было на

высоте. Мы вправе повторить то, что Фридрих Шиллер писал в 1793 году: «Попытка французского народа восстановить себя в священных правах человека и завоевать политическую свободу, выявила лишь его немощь... И этим не только сам этот несчастный народ, но вместе с ним и значительная часть Европы на целый век вновь погрузились в варварство и рабство. Момент был выбран самый подходящий, но вот поколение оказалось недостойно его, оно не смогло возвыситься до столь замечательной возможности, как и воспользоваться ею. То, как поступило это испорченное поколение с даром судьбы, доказывает, что человеческая раса еще не вышла из возраста детского насилия, что либеральное правительство, основанное на разуме, — преждевременно для народа, который только приготовляется подавить в себе грубую звериную силу, как и то, что он не созрел для гражданской свободы, не могущей существовать без свободы человеческой.

Человек познается по своим поступкам, и какой же образ видим мы, вглядываясь в зеркало нынешних времен? Здесь — самая возмутительная дикость, там — крайность, противопоставленная инерции... В нижних классах общества — лишь грубые и анархические инстинкты, доходящие до попрания всех основ социального порядка и с внушающей отвращение животной ненасытностью тех, кто стремится к удовлетворению своих низменных потребностей. Их сдерживала не внутренняя моральная сила, а принуждение сверху; это были не свободные люди, которых подавляло государство, а дикие звери, которых оно держало в спасительных цепях... С другой стороны, цивилизованные классы явили зрелище еще более отвратительное — полного безволия, слабости ума, отсутствия характера, что еще более возмутительно, поскольку ведь это люди, взращенные на культуре...

И я спрашиваю: во имя этого человечества трудится философская мысль, о нем думы благородных умов, на нем новый Солон основывает свои планы конституции?

И берет меня сомнение... Французская республика исчезнет так же быстро, как появилась на свет; республиканская конституция рано или поздно приведет к анархии, и единственным спасением нации будет сильный человек, взявшийся невесть откуда, который укротит бурю, восстановит порядок и станет править твердой рукой, пусть ему и придется стать абсолютным хозяином не только Франции, но и большей части Европы».

Какое чудесное предсказание, хотя это и не было решением проблемы. Наполеон не принес спасение французской нации,

которую он бросил в полымя нового кризиса. Ныне было бы ребячеством ждать спасения человечества от появления «сильной личности»: лавровыми венками, полученными за военные кампании, поколение, прошедшее последнюю войну, уже не соблазнить. Единственное, что может дать надежду на спасение — полная реформа нравственного и интеллектуального воспитания человечества.

Что до социальных реформ, тут все должно быть пересмотрено с точки зрения приведения в соответствие прав и благополучия тружеников с условиями максимального роста производства, от которого зависит само существование нашей цивилизации. С такой, двойной позиции надлежит подходить к решению проблем национализации промышленных предприятий. Эта национализация должна иметь место там, где она не влечет за собой уменьшения производства. Опыт один тому порукой, и тут страны должны использовать опыт друг друга эмпирическим путем. Девизом исследований в этой области станет поиск условий максимальной совместимости благополучия работников не с интересами капиталистов, а с максимальным развитием производства.

Эти исследования должны производиться в мировом масштабе, как, впрочем, это было сделано с введением восьмичасового рабочего дня: сколько криков было, стоило только заговорить об этой «пагубной» реформе, и как легко она была принята в 1919 году, в силу ее очевидности. Здравый смысл правящих классов возобладает, возможно, и в вопросе международных отношений: наконец, обратят внимание на то, что сохранение европейской культуры настоятельно диктует забыть о кошмарной распре 1914—1918 годов и что на повестке дня стоит вопрос выработки политики согласия между всеми народами, учреждения подлинного Сообщества Наций, которое не являлось бы синдикатом победителей и имело бы международный парламент, где решались бы и обсуждались интересующие весь мир вопросы.

Пять лет цензуры, такой, какой давно не видывала Европа, позволили нам оценить в полной мере свободу мысли. Особенно те, кто познакомился с большевистским режимом, задумаются, прежде чем нападать на завоевания «буржуазного» либерализма. Пережитое решительно указало нам и на огромные злоупотребления капитала. Неисчислимое зло, привнесенное в общество капиталистической прессой во время войны, ненависть и ложь, посеянные ею, ставят их на одну доску с большевистскими и полубольшевистскими органами печати. Повсюду пришлось нам видеть, как крупные органы печати были

куплены внешним врагом в разгар войны и поставлены им себе на службу. Мы за полную свободу выражения своих мыслей; но неизбежны злоупотребления, позволяющие дельцам и послевоенным нуворишам покупать газеты, выходящие миллионными тиражами, дабы влиять через них на ход политических событий, систематически подкупать и совращать народные массы.

В этой сфере нужны серьезные реформы. Здесь не место обговаривать их в деталях. Возможно, государство выкупит некоторые периодические издания бульварной прессы и превратит их в трибуны для свободного выражения мыслей. Это гораздо менее фантастическая идея, чем кажется. Информация, содержащаяся в этих государственных органах, будучи точной и беспристрастной, не сможет служить низким интригам и спекуляциям на бирже. А статьи могли бы быть написаны представителями всех политических направлений. Таким образом, читатели были бы лучше, чем сейчас, осведомлены и, вместо того чтобы позволить управлять своими поступками журналистам, обслуживающим тех, кто им платит, они прислушивались бы к мнению честных людей разных направлений и составляли бы себе мнение после ознакомления с различными точками зрения. Практические трудности, с которыми столкнется эта реформа, могут быть преодолены, если прибегнуть к помощи литературных объединений, которым поручить выбор редколлегий из числа наиболее уважаемых в стране писателей. С другой стороны, если им доверить литературную и художественную часть периодических изданий, нравственность и вкусы публики только выиграют. Зародыш подобного порядка вещей сегодня можно найти в организации некоторых социалистических органов печати, таких как «Юманите», где г-да Тома и Александр Блан, Ренодель и Лонге, Семба и Фроссар пишут по очереди. Сосуществование в недрах одной партии политических деятелей со столь различными взглядами — беда и нонсенс. Но другое дело, если речь идет о газетах, целью которых будет представление на суд публики различных политических точек зрения. Государственные газеты должны стать второй парламентской трибуной, с которой все ораторы дискутируют, но при этом сотрудничество такого рода не обязывает их ни в чем по отношению друг к другу, разве что к вежливости, которая еще сохранилась в парламентах, но никак не в прессе. Они не станут выражать правительственного мнения, как официальные органы печати наших дней; они, напротив, должны будут дать приют самым мощным нападкам на власть предержащих (как «Ле Журналъ Офисьель», что печатается на

государственные средства и со стенографической точностью передает речи всех ораторов парламента). Речь, однако, не идет о всеобщей национализации прессы. Наряду с этими свободными трибунами, существующими на государственный счет, свободно будут выходить и частные газеты. Таким образом, те из пишущей братии, кто имеет собственный печатный орган, продолжит этим пользоваться, те, кто этого лишен, будет выражать свои мысли в государственных органах. Национализировать следовало бы лишь некоторые бульварные издания, которые своими огромными тиражами и влиянием на умонастроение людей, очень уж отличаются от прочих. Возникает противоречие, коль скоро провозглашаешь монополию государства в области народного образования и оставляешь без всякого контроля органы формирования общественного мнения, в тысячи раз более мощные, чем школы, и сегодня являющиеся органами, скорее наносящими вред, чем несущими добро. Если эти государственные газеты доверить писательским организациям, они могли бы стать столь же независимыми, как академии и университеты в свободных странах, пусть и находящиеся на государственном обеспечении. Выкупать бульварную прессу следует на таких условиях, чтобы дельцы не создавали других, подобных выкупленным. Таким образом газеты перестанут являться инструментом финансовых комбинаций, а будут выражать общественное мнение. Мы не станем распространяться далее на эту тему, но считаем, что в этом ключе надлежит искать выход из вопроса о подлинной свободе печати. Большевизм показал нам недостойное и бесстыдное положение вещей, когда вся пресса «национализирована» и поставлена на службу одной-единственной партии, и всякий независимый голос цинично подавляется. В цивилизованных странах дело обстоит несравненно лучше, чем в Республике Советов. Во Франции, Англии все политические мнения выражаются свободно. Однако власть денег дает привилегии зачастую не самым достойным. Предложенная здесь система, кажется, гарантирует свободу и равенство, не нанося никому вреда, разве что небольшому числу банкиров.

Последний вопрос, который бы мы желали затронуть в своем наброске, — один из важнейших. Это аграрный вопрос. Здесь революция преподнесла нам один из самых негативных уроков.

Факт то, что крестьянин желает владеть землей; он не желает никакой национализации, стоит только ей уйти в сторону от facto его безраздельного владения наделом земли. Одна из фатальных ошибок русских интеллектуалов состояла, на мой взгляд, в том, что они думали сами и заставляли думать народ, будто он желает

того, чего совсем не желает. В 1917 году убеждали русский народ, что он желает продолжения войны, тогда как он бежал от нее как от чумы. В итоге это стало *единственным*, в чем народ был заодно с большевиками, и это-то и помогло им победить в октябре. Но *тогда* это было нашей обязанностью. Будем ли мы и сегодня упорствовать в ошибке и утверждать, будто крестьяне готовы отказаться от частной собственности на землю? В таком случае неизбежны и другие страшные уроки. А поскольку крестьяне составляют 80% населения, никуда не деться от коллизии между социалистическим принципом и принципом демократическим, не правда ли?

Да, коллизия неизбежна, если допустить, что социализм несовместим с признанием права собственности на землю.

Марксисты возлагали некогда большие надежды на закон концентрации земельной собственности и «пролетаризации» крестьянских масс. Критика учения Бернштейна показала обманчивый характер этих ожиданий. С другой стороны, война доказала пустоту марксистского прогноза в целом. Нужно же понять две вещи: 1) невозможно навязать коммунистический принцип и *род счастья* крестьянам, составляющим большинство русского народа; 2) *пролетаризация* — быстрая и неуклонная — крестьянства является грёзой, и притом не самой лучшей. И в этих условиях социалистам нужно искать решение проблемы в примирении их учения и принципа собственности на землю (ограниченной некоторыми законами, чья необходимость принимается здравым смыслом крестьян). Примирением, — не являющимся невозможным, — и должны вдохновляться крупные социалистические и демократические партии, которым потом же придется и опираться на крестьянство, самый трудолюбивый класс общества.

* * *

«Революция есть по сути дела одна из форм того имманентного явления, которое теснит нас со всех сторон и которое мы зовем Необходимостью.

И перед лицом этого загадочного переплетения благодеяний и мук История настойчиво задает вопрос: „Почему?”

Потому — ответит тот, кто ничего не знает, и таков же ответ того, кто знает все.

Наблюдая эти стихийные катастрофы, которые разрушают и обновляют цивилизацию, не следует слишком опрометчиво судить о делах второстепенных. Хулить или превозносить людей

за результат их действий — это все равно, что хулить или превозносить слагаемые за то, что получилась та или иная сумма. То, чему должно разразиться, — разразится. Но извечно безоблачная синева тверди не страшится таких ураганов. Над революциями, как звездное небо над грозами, сияют Истина и Справедливость»[296].

Эта безмятежная философия Виктора Гюго — не для современных людей, не знаю, для истории ли она?

«Возводя хулу» на нынешних деятелей (а за что же нам их «превозносить»?), мы также покоряемся необходимости.

Перед лицом двойной катастрофы, разрушившей цивилизацию во имя ее «обновления», мы, не колеблясь, вынесли свое суждение.

Бедствие, обрушившееся на Мессину, имело и положительную сторону: старый город был разрушен, те, кто спасся, взялись за возведение нового города, более при

способленного к нуждам людей, лучшего. Но если бы хоть какой-нибудь разум царил над человеческим уделом, можно было бы обойтись без этого землетрясения. Разве лучший и даже совсем новый город стоит того, чтобы погибло двести тысяч людей и произошли бесчисленные разрушения?

Европейская война и социальная революция обновили цивилизацию, подобно тому как землетрясение обновило Мессину.

Неужто ради того, чтобы получить какую-то жалкую Лигу Наций, которую мы имеем, должны были погибнуть миллионы людей и превратиться в обломки то, что возводилось усилиями многих поколений?

Неужто ради того, чтобы заставить уразуметь тех, кто правит (а часто и тех, кем правят), что назрели глубокие социальные реформы, мир должен был кануть в зияющую бездну ленинизма? Сохраним, по крайней мере, хоть каплю надежды на то, что над всем, что мы увидели и пережили, сияют Истина и Справедливость.

notes

Примечания

1

Автор принадлежит к партии народных социалистов, во главе которой стоят господа Мякотин и Пешехонов, бывшие сотрудники Михайловского и Чайковского, главы правительства Архангельска. Эта партия, возможно единственная в России, следовала четко намеченной линии действий; ее главными характеристиками являлись: защита национальных интересов, лишенная какого-либо шовинистического духа и империалистических побуждений; верность союзническим отношениям; демократические свободы; Учредительное собрание; объединение всех сил, признающих суверенность всеобщего избирательного права; глубочайшие социальные реформы, осуществляемые легальным путем. Это та партия, которая выступила с инициативой переговоров, приведших к образованию Союза Возрождения России, состоящего из социал-революционеров, социал-лейбористов, социал-демократов и левых кадетов.

2

Guglielmo Ferrero. La ruine de la civilisation antique. Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1919.

3

Г. Зиновьев. Н. Ленин: Владимир Ильич Ульянов: Очерки жизни и деятельности. Пг.: изд. Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов, 1918.

4

Знаменитый революционер, друг Маркса, с которым он был на «ты», высоко оцененный Герценом и Тургеневым, умер в 1919 г. Несмотря на нищету, в которую он впал под конец жизни, он с презрением отказывался от пенсии, предложенной ему большевистским правительством, которое ненавидел.

5

Михайловский сам признал, что жизнь доказала невозможность избежать в России капиталистической стадии экономического развития.

6

Д. Кольцов. Конец Народной воли и начала социал-демократии. 80-е годы (на рус. яз.).

Юмор, однако, является качеством, которого Ленин как будто бы начисто лишен.

8

Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 10.

9

Там же, с. 15.

10

Там же, с. 16.

11

Это также относится к г-дам Троцкому, Луначарскому, Каменеву и всем остальным большевистским вождям.

12

В. И. Ленин. Что делать? За 12 лет. — Полное собрание сочинений (далее: ПСС), т. 6, с. 16.

Цитаты из трудов В.И. Ленина по возможности даются по тем изданиям, которыми пользовался автор данной работы, в случае, когда этой возможности по той или иной причине нет, по Пятому изданию Собрания Сочинений Ленина. — *Прим. перев*.

13

Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 23-24.

14

Мы приятно удивлены, узнав, что г-н Зиновьев так страдал, сидя в кафе Женевы оттого, что не слышал «родного русского слова». Но само собой разумеется, он говорит так ради красного словца и обращаясь к тем из товарищей, кто не бывал в эмиграции, поскольку те, кто там был, прекрасно знают, что эмигранты слышат одну лишь русскую речь.

15

Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 23-24.

Это обвинение было весьма оправданным: найденные после революции документы с полной уверенностью свидетельствуют, что Житомирский был агентом-провокатором.

17

Vladimir Bourtzev. Lenine and Malinovsky, Struggling Russia, N 9-10, 17 мая 1919. Источники сведений г-на Бурцева о деле Малиновского весьма разнообразны: будучи заключен при большевиках в Петропавловскую крепость, он получил в сокамерники Белецкого (позднее расстрелянного). Бывшему шефу тайной полиции уже ни к чему было скрывать что-либо: он поведал Бурцеву все перипетии этого великолепного полицейского романа. Методы, использованные Белецким, превосходят фантазию Конан-Дойла.

18

Во время войны Малиновский занимался большевистской пропагандой в лагерях русских военнопленных в Германии. Вернувшись в конце войны по доброй воле в Россию, он был расстрелян с санкции Ленина.

Блистательную изоляцию (англ.).

20

В своих статьях, опубликованных в швейцарской прессе в 1914-1916 гг., Ленин беспрестанно клеймит оппортунистические и буржуазные идеи Троцкого.

21

Свет с востока (лат.).

22

Avanti, 1 июня 1919.

23

Daily Mail, апрель 1919.

24

Карл Либкнехт.

25

Jean Longuet. Le populaire, 20 июня 1919.

L'Humanité, 1 августа и 2 сентября 1919.

27

Arthur Ransom. Pour la Russie. Lettre à l’Amérique.

Нужно ли говорить, что г-н Зиновьев находит эту жалкую брошюру молодого Ленина «классической моделью популяризации марксизма».

29

Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 16.

Речь шла о книге П.Б. Струве, наделавшей в то время много шуму: «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» (1894). Эта книга, как и книга Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», положили начало марксистской эре в России.

31

Вл. Ильин. За 12 летъ: Собраніе статей. Т. 1. Пг., 1918, с. 183.

32

Там же, с. 190.

33

Там же, с. 191.

Напомним по этому поводу, что г-н Струве имел прежде случай оказать ценные личные услуги Ленину. Г-н Зиновьев упоминает об этом в биографии своего хозяина: «Струве был товарищем Ленина и оказывал неоценимые услуги как товарищу Ленину, так и тогдашней социал-демократии...» (Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 22) Слышал я об этом и от самого Струве.

35

«А. Аксельрод, — пишет с возмущением г-н Зиновьев, — занимался тем, что всем, кто желал его слушать, рассказывал сказки, будто Ленин — второй Нечаев, будто Ленин в его борьбе против “стариков” преследует только цели честолюбия» (Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 30).

36

Н. Ленин. Нужды деревни. (К деревенской бедноте). СПб., 1905.

37

Н. Ленин. Пересмотр аграрной программы рабочей партіи (на рус. яз.). СПб, 1906, с. 31.

38

В. И. Ленин. Что делать? — ПСС, т. 6, с. 127.

39

Ленин. Шаг вперед, два шага назад (на рус. яз.). Женева, 1904.

Н. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции (на рус. яз.). Женева, 1905.

41

Резолюция Лондонского съезда (май 1905). — ПСС, т. 11, с. 10.

42

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. — ПСС, т. 11, с. 35.

43

Там же, с. 37.

Там же, с. 16.

45

См. книгу Рауля Лабри (Raoul Labry) о большевистской промышленности.

Эта формулировка не имела смысла, ведь ясно, что «революционно-демократическая диктатура» могла быть основана только после падения монархического строя.

47

Последнее по счёту, но не по важности (англ.).

48

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. — ПСС, т. 11, с. 45.

49

Аграрная программа Ленина была в то время весьма скромной. Позднее он сам признал, что она была «гораздо уже».

Здесь речь не идет больше о «лучшем случае»: Ленин высказывается утвердительно, без обиняков.

51

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. — В кн.: Вл. Ильин. За 12 лет. Собраніе статей. Т. 1. Пг, 1918, с. 458.

52

Там же, с. 461.

Там же, с. 441-442 (курсив М. А. Алданова).

Такое заявление было недавно сделано Лениным в беседе с корреспондентом United Press: «Террор был ответом пролетариата на действия буржуазии, вступившей в заговор с капиталистами Германии, Англии, Японии, Америки и Франции...» (L'Humanité, 6 августа 1919).

Это не соответствовало истине, что и доказал Мережковский в своей защитительной речи.

Мне говорят, что продажа сборника, содержавшего эту статью Ленина, позднее была запрещена, на этом все и закончилось. Я приобрел его в Петербурге в книжной лавке. Сам факт, что статья попала в печать, а затем и в торговую сеть, и частично была продана — уже многозначителен.

57

Среди тех, кто хотел это сделать — Луначарский, ныне коллега Ленина и Зиновьева в Совете Народных Комиссаров. Отсюда скромное хотели. — Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 41.

В. Ильин (Ленин). Материализм эмпириокритицизм. Критические заметки о реакционной философии (на рус. яз.). М., 1909.

59

Г. Зиновьев. Указ, соч., с. 42.

Ежеквартальник по научной философии (нем.).

61

В. Ильин. Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии, (на рус. яз.). М., 1909.

62

Реакционный русский публицист, недавно расстрелянный большевиками.

В. Ильин. Указ, соч., с. 69.

Прелат, известный своими отсталыми взглядами.

В. Ильин. Указ, соч., с. 142.

На стр. 400 Ленин констатирует, с ужасом, достойным г-на Омэ, что «товарищ Луначарский заговорил о религии». Какова бы ни была ценность находок г-на Луначарского в области «религиозной экономики», удивительно, что Ленин доверил портфель министра народного просвещения столь опасному клерикалу. Это было, по меньшей мере, столь же неосмотрительно, как и доверить министерство иностранных дел г-ну Троцкому, которого Ленин в 1915 году охарактеризовал как буржуазного оппортуниста.

В. Ильин. Указ, соч., с. 195.

Там же, с. 223.

Там же, с. 309-310.

70

Профессор Лопатин — столь же известный в России философ, как в Германии — г-да Шюппе, Шуберт-Золдерн, Мах, Коген. За черносотенцами, истинными русскими, «Союзом русского народа» во времена Николая II стояли организации и отдельные личности крайне левого толка.

В. Ильин. Указ, соч., с. 317 (курсив М. А. Алданова).

Там же, с. 326-327.

73

Г-н Хвольсон, профессор физики в Петербургском университете, беседовал с Эрнестом Геккелем на философские темы, не имеющие никакого отношения к политике.

В. Ильин. Указ, соч., с. 370 (курсив М. А. Алданова).

Нужно отдать должное Ленину: у него нет мании последнего крика, которая свирепствует в лагере его соратников и так им к лицу. «Большевики, — рассказал мне один русский, часто с ними общавшийся, — это люди, которые трижды в неделю приглашают маникюршу, но моются лишь один раз в месяц». Замечание это столь же верно в символическом значении, как и в буквальном: большевики едва умеют читать и писать, но уже кубисты в живописи, футуристы в литературе и почувствовали бы себя обесчещенными, если б их обозвали хоть в чем- либо старомодными.

76

Из духа симметрии, должно быть, знаменитый физик из Бордо был превращен Лениным в бельгийца.

У меня нет работы Лафарга, откуда позаимствована эта тирада; я слово в слово перевожу на французский русский перевод Ленина. - Т.Ч.

Цитата содержится в той самой книге "Материализм и эмпириокритицизм" и выглядит так: Рабочий, который ест колбасу и который получает 5 франков в день, знает очень хорошо, что хозяин его обкрадывает и что он питается свиным мясом; что хозяин – вор и что колбаса приятна на вкус и питательна для тела. – Ничего подобного, – говорит буржуазный софист, все равно, зовут ли его Пирроном, Юмом или Кантом, – мнение рабочего на этот счет есть его личное, т. е. субъективное, мнение; он мог бы с таким же правом думать, что хозяин – его благодетель и что колбаса состоит из рубленой кожи, ибо он не может знать *вещи в себе… - Иван Штангенциркуль.*

В. Ильин. Указ, соч., с. 212.

Там же, с. 206.

В. Ильин. Указ, соч., с. 207.

81

Поцелуй — одна из излюбленных речевых фигур ленинского красноречия.

82

Там же, с. 369.

83

«Фидеизм, — объясняет Ленин, — есть учении, ставящее веру на место знания или вообще отводящее известное значение вере» (цит. по: ПСС, т. 55, с. 259). Бедный большевистский философ даже не догадывался, что он самый что ни на есть настоящий фидеист.

В. Ильин. Указ, соч., с. 366.

В. Шулятиков. Оправдание капитализма в западно-европейской философии (от Декарта до Маха) (на рус. яз.) М., 1908.

В. Шулятиков. Указ, соч., с. 6.

Там же, с. 27.

Там же, с. 30.

89

Там же, с. 42.

Там же, с. 42.

91

Весь цвет (фр.).

Там же, с. 42.

93

Там же, с. 45.

Там же, с. 79.

Там же, с. 92.

Там же, с. 114.

Статьи обоих этих авторов, появившиеся в печати в Швейцарии во время войны, были собраны в Петрограде в 1918 г. в один большой том, названный «Против течения»; имя Зиновьева стоит на нем перед именем Ленина.

Второе я.

Я развил эти мысли в статье «Дракон», написанной в начале войны, и в своей книге «Армагеддон» (1918), в которую эта статья вошла составной частью.

100

Н. Ленин. Социал-демократ, № 39, 11 ноября 1914. — Цит. по: «Положение и задачи Социалистического Интернационала», ПСС, т. 26, с. 41-42.

101

В. И. Ленин. Русские Зюдекумы (на рус. яз.). Социал-демократ, 1 февраля 1915. — Цит. по: ПСС, т. 26, с. 119-125.

102

Н. Ленин. О лозунге «разоружение». Социал-демократ, № 2, 1916, с. 253.

103

Некоторые выдержки из этой главы вошли в мою статью, опубликованную в «Мире народов».

Для тех, кто знаком с Германией, существование образцовой бухгалтерской отчетности о самых; секретных расходах не может подвергаться сомнению.

Само собой, что в намерения немецкого правительства не могло входить скомпрометировать какого-то Ганецкого или любого другого бедолагу-русского большевика. Было бы бессмысленным, очевидным промахом — устанавливать продажность второстепенных большевистских агентов.

Это утверждение генерала Людендорфа справедливо в том, что огромная услуга, оказанная Лениным Германии, не спасла ее от падения и капитуляции, для нее же было бы лучше не заводить так далеко дела в России.

107

По чистой случайности телеграмма г-на фон Ягова, служащая основанием для обвинений против г-на Жюде, попала в руки союзнических властей. Однако и в этом случае в интересах немцев было доставить неприятности французским националистам, своим извечным врагам.

108

Г-н Троцкий, любитель пошутить с бесстрастным видом, пишет следующее по поводу состояния русского фронта перед большевистской революцией («Пришествие большевизма», с. 63): «Среди солдат циркулировали летучие листки, составленные ими самими, в которых их приглашали не оставаться в траншеях дольше, чем выпадет первый снег». Видите — самими ими составленные, а немцы и большевики здесь ни при чем.

109

По глупости клеветы у него есть конкурент в лице Троцкого. И вот пример. Русские солдаты в 1916 г. в Марселе убили одного из своих офицеров — полковника Краузе. Кажется, у этих солдат был найден дневник, который Троцкий тогда публиковал в Париже («Наше слово»), что послужило одной из причин высылки из Франции этого большевика. А ведь г-н Троцкий сделал на этот счет сенсационное заявление: «Русское правительство организовало руками своего провокатора небольшое убийство во Франции, дабы придать веса своим аргументам» (Двадцать писем Льва Троцкого, Париж, 1919, с. 20). Царское правительство, убивающее одного из своих полковников, дабы дать аргументы в пользу высылки Троцкого в Испанию, — находка, свидетельствующая о мании величия ее автора.

110

Ленин. Шаг вперед, два шага назад, (на рус. яз.). Женева, 1904, с. 137.

111

Н. Троцкій. Второй съездъ Рос. Соц.-Дем. Рабочей Партіи. Отчетъ Сибирской делегаціи. Женева, 1903.

112

Г-н Троцкий писал прежде так же, как говорит сегодня. Публика не в силах устоять перед красноречием этого Мирабо аптекарей.

Все эти определения относились к внутреннему устройству социал-демократической партии; они были исполнены, так сказать, иронии и символического значения. Предполагал ли тогда Троцкий, что настанет час, когда террор станет означать для него и для Ленина нечто совсем иное, чем просто символ?

Н. Троцкий. Указ, соч., с. 20.

115

Там же, с. 28.

116

Там же, с. 29.

117

Можно было бы привести в качестве примера поистине чудесную историю с одним наследством, оказавшимся в распоряжении большевиков, то есть Ленина. Я подчеркиваю: речь не идет о личной непорядочности: распоряжаясь фондами партии, Ленин всегда жил бедно.

118

«Ленин был влюблен в Плеханова», — пишет г-н Зиновьев.

119

W. Bourtzev. Lenin and Malinovsky. Struggling Russia, N 9-10, may, 1919, p. 139.

120

«Согласно Малиновскому, Ленин пытался и не мог понять того, что его (Малиновского) скрытое прошлое не просто полно преступных деяний, но что он находился в руках жандармов и провокаторов» (W. Bourtzev).

121

Я попытался подсчитать, сколько раз меньшевики и социал-революционеры (многие из которых долгие годы провели на каторге), были названы «лакеями буржуазии» в его недавних статьях. Однако не хватает времени, чтобы закончить этот подсчет.

122

Мне рассказали, что в 1918 г. Ленин часто показывался со своей женой на организованных большевиками публичных балах, посещаемых прислугой, матросами, кучерами, и беседовал с ними о политике, как какой-нибудь Гарун-аль-Рашид без инкогнито.

Добавлю (ибо это типический факт), каковы были последствия для данного завода беседы Ленина с посланцем рабочих. Само собой, меньшевики и социал-революционеры завода тут же вступили в большевистскую партию. Несколькими днями позже к директору завода, очень порядочному человеку либеральных убеждений, были применены санкции. Затем рабочие буквально выполнили ленинский совет и «все взяли», заставив администрацию по-прежнему выплачивать им заработную плату. А сами продавали старьевщикам инструменты и сырье. В январе 1918 г. завод окончательно встал. Рабочие из числа крестьян вернулись в деревню; война закончилась, их больше не страшил набор; профессиональные рабочие оказались на государственном содержании (если это слово подходит к большевистской России): в качестве безработных или охранников (небольшое число).

124

Этот несчастный молодой человек, чьи блестящие способности и благородный характер были столь многообещающими, был расстрелян большевиками. Темные слухи ходили по столице, будто его четыре раза пытали.

125

На подлые души (лат.).

126

Если большевики останутся хозяевами России до весны 1920 г. (к несчастью, это возможно), гражданская война, голод и холод приведут к новым миллионам смертей.

127

Боюсь человека одной книги (лат.).

128

Опечатка в бумажной книге - Иван Штрангенциркуль.

129

Ландау-Алданов. Армагеддон. Петроград, 1918.

130

Часть латинского выражения Jurare in verba magistri - клясться словами учителя; в знач. слепо следовать за авторитетом.

Мне известно, что демаркационные линии в этих битвах идей не одинаковы в различных странах и что ныне они не те, что прежде.

132

Кое-какие статьи Nachlass: Нищета философии (1847); Манифест Коммунистической партии (1848); Классовая борьба во Франции от1848 до 1850 г. (1850—1851); Революция и контрреволюция в Германии (1851).

133

Статья «К критике политической экономии» с ее знаменитым предисловием появилась в 1859 г.

Karl Kautsky. Bernstein und das sozialdemokratische Program (Stuttgart).

135

В своей статье, опубликованной в Leipziger Volkszeitung.

136

Г. В. Плеханов. Критика наших критиков (на рус. яз.), СПб., 1906.

В. Ильин. Аграрный вопрос (на рус. яз.), СПб., 1907.

138

К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2-е, т. 4, с. 459.

139

Там же, с. 261. (Обращение ЦК к Союзу коммунистов. Март 1859 г.)

140

В себе и для себя (нем.).

141

Corriere della Sera. Milan, 14 апреля 1919.

142

Я писал в своей статье на английском Fragments (The Russian Commonwealth, N 7, February 5, 1919): «Человечество более не нуждается в фанатиках (если когда-либо и нуждалось): ни в таких фанатиках, как Людендорф, ни в таких фанатиках, как Ленин». Я рад констатировать, что мнение г-на Каутского так совпадает с моим.

143

В связи с чрезвычайно трудным доступом в Париже в наше время к политическим трудам немецких авторов, я не смог ознакомиться в оригинале с последними статьями г-на Каутского. Заранее приношу ему свои извинения, если его мысли искажены газетами, в коих я их почерпнул.

Это верно как общее правило. Однако есть и весьма забавные исключения, о которых пойдет речь в главе, посвященной Жоресу.

Сам Бебель в 1905 г. в Амстердаме был в этом замечен.

Он этого не знал. Никто не знал.

147

Н. Ленин. Марксизм и ревизионизм. Памяти Карла Каутского. 2-е изд., 1919, с. 11. — ПСС, т. 17, с. 25-26.

E. Bernstein. Socialisme théorique et social-démocratie pratique. Paris, 1900, p. 299.

149

«Это приобретение без сомнений не самый глупый трюк в активе немецкой внешней политики» (E. Bernstein. Op. eit, p. 251).

Такие люди, как Кропоткин или Плеханов были выдающимися теоретиками и пользовались некоторой известностью: первый — в анархистских кругах англосаксонских и романских стран, второй — прежде всего в немецких марксистских кругах. Но их практическое влияние было очень ограниченным и не может выдержать никакого сравнения с влиянием Бакунина.

151

Ленин. Доклад на I съезде Коммунистического Интернационала. L'Humanité, 31 juillet 1919. У нас будет возможность вернуться к идеям этого доклада в следующих главах этой книги, здесь мы лишь упоминаем о них.

152

M. Bakounine. L'Empire Knouto-germanique (1871). Œuvres, t. II, p. 311.

153

Bakounine. Lettre au journal La Liberté, de Bruxelles (1872). Œuvres, t. IV, p. 345.

154

В. И. Ленин. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата 4 марта (I конгресс коммунистического Интернационала. — ПСС, т. 37, с. 491-492.

155

Bakounine. Le manuscrit rédigé à Marseille (1870). Ouvres, t. IV, p. 190.

Bakounine. Fragment (1872). Œuvres, t. IV, p. 423.

157

Bakounine. Lettres à un Français (1870). Œuvres, t. IV, p. 35.

158

Bakounine. L'Empire Knouto-germanique (1871). Œuvres, t. II, p. 449-450.

159

Bakounine. Lettre au journal La Liberté (1872). Œuvres, t. IV, p. 383-384.

Ibid., p. 381-382.

161

Bakounine. Lettres à un Français (1870). Œuvres, t. IV, p. 54.

Ibid., p. 45.

163

Bakounine. L'Empire Knouto-germanique (1871). Œuvres, t. II, p. 344.

Нужно ли говорить, что эта ссылка на авторитет Маркса весьма смелая? Замечу, что Бакунин видел в своем знаменитом антагонисте «почитателя государственной власти».

165

В. И. Ленин. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата 4 марта (I конгресс Коммунистического Интернационала). — ПСС, т. 37, с. 501.

Там же, с. 500.

167

Там же, с. 500.

168

Там же, с. 501.

169

Bakounine. L’Empire Knouto-germanique (1871), Ouvres, t. II, pp. 331-332.

Ibid., p. 347.

171

Ibid, p. 347.

С соответствующими поправками (лат.).

173

Bakounine. Ouvres, t. II, p. 291.

Bakounine. Ouvres, t. IV, pp. 86 et 157.

Ibid, p. 247.

Ibid, t. II, p. 293.

177

Bakounine. Manuscrit de Marseille. Ouvres, t. IV, pp. 113-114.

178

Bakounine. L'Empire Knouto-germanique (1871). Ouvres, t. III, p. 121.

179

Bakounine. Lettre au journal La Liberté (1872). Ouvres, t. IV, p. 344-345.

180

«Это слова самого Энгельса из весьма познавательного письма, адресованного им нашему другу Каффиеро» (Прим. Бакунина).

181

«Г-да Маркс и Энгельс обычно употребляют одновременно уничижительные и красочные слова: „люмпен-пролетариат”, „оборванцы”, „христорадники”» (Прим. Бакунина).

Bakounine. Fragment. Ouvres, t. IV, p. 414.

183

В год от Рождества Христова (лат.).

Georges Sorel. Réflexions sur la violence, pp. 120,130,161, 388.

Ibid, p. 7.

186

Ibid, p. 174. Впрочем, есть один автор, который с еще большей силой возникает перед моим сознанием, чем знаменитый философ из Коллеж де Франс, стоит мне взяться за чтение «Размышлений о насилии». Это генерал Бернарди, который в области философии войны то же, что г-н Сорель в области философии революции.

Georges Sorel Op. cit, p. 63.

Ibid., p. 100-101.

189

Г-н Троцкий рассказал в своей книжке «Пришествие большевизма», какими минимальными силами большевики сбросили в 1917 году Временное правительство. Я слышал от самого Керенского рассказ о перипетиях этих фатальных дней. Один Господь в силах определить долю несчастий, зависти, интриг, опрометчивости и случая — случая прежде всего — во всем этом.

Georges Sorel. Op. cit, pp. 117-119.

Эти два депутата от партии кадетов, принадлежавшие к лучшему, что было в российском дворянстве с точки зрения интеллектуальной и нравственной, были убиты в Мариинской больнице в январе 1918 г. Их убийцы, левые хулиганы, так и не предстали перед судом, хотя их имена были оглашены во всех газетах.

Поскольку громилы не обязательно являются революционерами, не трудно привести и примеры противоположного толка: Либкнехт, Роза Люксембург, и т. д.

Georges Sorel. Op. cit, p. 273.

Ibid., p. 287.

Ibid., p. 433. Леону Блюму и авторам "Программы действий социалистической партии Франции" также не лишне было бы обдумать эту столь здравую мысль.

Georges Sorel. Op. cit, p. 217.

197

Верую, но там было (лат.). - примечание в бумажном издании.

Ibid., p. 217.

Ibid., p. 287.

Ibid., p. 156.

Ibid., p. 160.

Н. Ленин. Очередные задачи советской власти. - ПСС, т. 36.

203

Там же.

Рене Декарт. Рассуждение о методе.

Georges Sorel. Op. cit, p. 268.

206

В речи Ленина, на которую ссылается автор, этих слов нет. - Примечание переводчика.

207

Ряды красноармейцев насчитывают небольшое число русских рабочих: большинство составляют китайцы, нищие латыши и призывники на обязательной службе.

Теоретически нужно бы ещё добавить бунт буржуазии против преград, которые старый режим устанавливал на пути свободного развития капитализма. Но на практике этот фактор действовал в малой степени; с одной стороны, антагонизм дворянства и буржуазии в чистом виде в России гораздо меньше давал о себе знать, чем в 1789 г. во Франции, или даже, чем в последнее время в Германии, поскольку особые привилегии дворянства были гораздо уже по сравнению с привилегиями русской буржуазии, кастовые предрассудки намного слабее, а доступ к дворянству довольно прост путём служения отечеству. С другой стороны, ни в одной стране буржуазия не является настолько безвольной и менее способной к борьбе, чем в России, доказательством чему служит чрезвычайно слабое сопротивление, оказываемое русской буржуазией своим нынешним угнетателям, не могущее идти ни в какое сравнение с сопротивлением немецкой буржуазии или даже финской в аналогичных условиях: в Финляндии все буржуа взялись за оружие, чтобы выйти с Маннергеймом на бой с красными; ничего подобного не наблюдали мы в России. Русская буржуазия предпочитает критиковать, оставаясь дома и выявляя ошибки Львова, преступления Керенского и т.д.

209

Ландау-Алданов. Армагеддон. Петроград, 1918.

210

Я называю тех, с кем у меня не было личных бесед.

L'Humanité, des 29, 30, 31 juillet 1919.

212

Французский читатель найдёт сведения о личностях большинства большевистских лидеров в очень интересной книге: M. Etienne Antonelli. La Russie Bolcheviste, Paris, 1919.

Французская мысль там была представлена господами Садулем и Паскалем. Не знаю, кто был посланником немецкой мысли: г-н Карл Радек, который в самые отчаянные моменты жизни бывает немцем (когда он не австрияк, не поляк, не русский, не украинец), не смог присутствовать, будучи, кажется, интернирован в Берлин.

214

В. И. Ленин. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата на I конгрессе Коминтерна. — ПСС, т. 37, с. 491.

215

Там же, с. 493

216

Н. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. — ПСС, т. 11, с. 70.

217

Там же, с. 10-11.

У Троцкого достало наглости повторять этот упрек после разгона Учредительного собрания большевиками («Пришествие большевизма», Париж, 1919, с. 48).

Это вовсе не мешает Ленину спокойно писать сегодня в том же «Докладе» о независимых: «Смехотворная попытка соединить систему Советов, т.е. диктатуру пролетариата, с Национальным собранием, т.е. с диктатурой буржуазии, разоблачает до конца и убожество мысли желтых социалистов и социал-демократов, и их политическую реакционность мелких буржуа, и их трусливые уступки неудержимо растущей силе новой, пролетарской, демократии» (Цит. по: ПСС, 37, с. 125).

В ином месте, в первой главе данной работы мы сказали, что Ленин, судя по биографии, написанной Зиновьевым, лишь два или три раза присутствовал в 1905 г. на заседаниях Петроградского Совета, и то в качестве простого наблюдателя, на трибуне для публики. Легко понять, что будь он сторонником советизма тогда, его роль была бы не столь неприметна; вместо Хрусталева-Носаря, Троцкого и Парвуса председателем был бы он.

E. Buisson. Les bolcheviks. Paris, 1919, p. 55.

222

Парвус признался, что нажил несколько миллионов на торговле во время войны.

223

«Соглашатели» — означает: те, кто стояли за соглашение с более умеренными политическими элементами.

Г. Зиновьев. Ленин. Пг., 1918, с. 57.

225

Для данного случая (лат.).

Я пишу *еще* оттого, что вскоре это изменится совершенно: 17-й параграф главы V раздела II вышеназванной Конституции (основного закона) обещает «предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное образование». (Цит. по: Конституции и конституционные акты РСФСР. 1918-1937: Сборник документов под ред. Академика А. Я. Вышинского. М: изд-во Ведомостей Верховного Совета РСФСР, 1940, с. 24). С такими-то преподавателями!

Ленин, Луначарский, Каменев, Воровский— судя по всему, единственные большевистские лидеры, обладающие определенной эрудицией. Троцкий мало образован (его писания свидетельствуют об этом, являя в то же время присущие ему неоспоримые ум и журналистский дар). Зиновьев, Урицкий, Володарский, Петерс, Дзержинский, Свердлов, Калинин, Гуковский и т. д. — невежи в полном смысле этого слова.

228

«Юманите» от 31 июля 1919. (Цит. по: В. И. Ленин. Резолюция к тезисам о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. — ПСС, т. 37, с. 510).

229

Конституции и конституционные акты РСФСР. 1918-1937: Сборник документов под ред. Академика А. Я. Вышинского. М: изд-во Ведомостей Верховного Совета РСФСР, 1940,, с. 29.

Местные советы, возможно, не владеют глубоким знанием Конституции и тех привилегий, коими она их наделяет, в частности, этой. Однако на административных должностях в комиссариатах полно подростков, не достигших возраста, установленного в этой статье.

231

«Г-н Луначарский, народный комиссар образования, недавно говорил одной юной француженке, которая, желая получить возмещение за свои драгоценности, хранившиеся в банке, блестяще справилась со всеми предварительными хлопотами, но натолкнулась в конце концов на отказ: «Что вы хотите, барышня? Вам не повезло. Вы попали на честного человека, возможно единственного. Запишите его имя! Это дорогого стоит» (RoberVaucher. L'enfer bolchevik à Pétrograd, Paris, 1919, p. 217).

Г-н Паскаль, французский офицер, служивший в России, и ставший вдруг большевиком, — пример тому. Я имел удовольствие знать его в те времена, когда он был ярым католиком, два года тому назад.

233

Г-жа Брешковская помещает Ленина в разряд f. Если ей верить, большевистский папа не совсем в своем уме (статья в Struggling Russia). Но она преувеличивает.

Акимовъ. Къ вопросу о работахъ второго съезда Россійской Соціал-демократической Рабочей партиіи. Женева, 1904, с. 43.

235

Там же, с. 43.

Eduard Bernstein.Socialisme théorique et social-democratie practique, pp. 297-298.

237

Цит. по: ПСС, Т. 37, с. 494.

Я говорю *в начале*, поскольку позднее, с приходом террора, никакое не большевистское собрание вообще не могло состояться при столь благословенном правлении т. Ленина. Любой антибольшевистски настроенный оратор, который отважился бы выступить на собрании, тотчас бы угодил в застенок, если б его не расстреляли как саботажника, белогвардейца или контрреволюционера.

239

Цит. по: ПСС, т. 37, с. 496.

240

Г-н Красин, один из трех нынешних диктаторов советской России, может служить примером большевика миллионера.

Само собой разумеется, цензура — самый глупый и самый недееспособный институт, и наше желание состоит в том, чтобы все газеты пользовались полной свободой.

242

Цит. по: ПСС, т. 37, с. 497.

243

Г-н Вильсон прежде весьма сурово осуждал Французскую революцию, и не только ее поступки, но и идеи.

Один влиятельный член Рабочей партии говорил в разговоре со мной и г-ном Титовым: «Английские рабочие симпатизируют большевикам оттого, что им не симпатизирует наша капиталистическая пресса».

Кажется, это характерная черта всех революций: вначале их возглавляет титулованный либерал: маркиз де Лафайет или князь Львов, Макс Баденский или граф Кароли.

Большевики никак не в силах опорочить эту славную плеяду своих недругов.

По этому вопросу имеются интересные данные в книге: Charles Dumas. La vérité sur les bolcheviks. Paris, 1919.

М. Ландау-Алданов. Русский кризис и объединение Наций. — Мир народов, № 1, февраль, 1919.

249

Кто помимо немецких агентов мог иметь нужду в русских пулеметах и пушках?

Они в то же время позволяют себе оскорблять интервенционистов в том, что те ищут поддержку у союзнических демократий.

251

«Большевики похваляются ныне, что переиграли немецкий империализм, вынудивший их капитулировать в Брест-Литовске; они рассматривают немецкую революцию как дело своих рук. На самом деле, хотя они и давали большие суммы денег спартаковцам, они гораздо больше сделали в России, дабы помешать падению Вильгельма II, нежели в Германии, чтобы спровоцировать это; их губительное действие на русскую армию и страх, что пример нашей страны воодушевит немцев, на год отсрочили поражение прусского милитаризма» (Ландау-Алданов. Мир народов, с. 96).

252

Имелось 137 вражеских дивизий на русском фронте в 1916 г., они были под командованием трех самых прославленных генералов Германии того времени: Гинденбурга, Людендорфа, Макензена. В августе 1917 г., накануне падения Керенского, их было 146. Сколько их осталось после Брест-Литовского мира? Одного этого факта достаточно, я думаю, чтобы приглашение отправиться на Принцевы острова, сделанное союзниками всем русским группировкам, рассматривалось русскими, оставшимися верными союзническому долгу, как оскорбление.

253

Россия уже пять лет в блокаде. Да притом в такой, в какой никогда не была Германия, ибо если Россия в течение двух или трех лет и получила какую-то помощь от своих союзников по железным дорогам Сибири и Севера, Германия получала гораздо больше, и не только от своих союзников, но и от Швейцарии, от Нидерландов, от Дании, Скандинавских стран, Италии, Румынии до их вступления в войну, и от тех богатых территорий во Франции, Бельгии и Польши, которые она завоевала. А ведь если Германия была раздавлена четырьмя годами блокады, несмотря на свою великолепно организованную жизнь, что уж говорить о России, жизнь в которой всегда из рук вон плохо обустроена, а в октября 1917 г. и вовсе разладилась, которая держится вообще непонятно за счет чего. Этот факт является доказательством огромного природного богатства страны и живучести народа, столь же беспримерных, сколь и его пассивность. Сколько продержалась бы, к примеру, Англия, окажись она в подобной блокаде?

Германия также не смогла успешно завершить обе эти задачи.

255

Н. Ленин. Письмо к американским рабочим. — ПСС, т. 37, с. 63.

L'Avenir,N 37, p. 223 (май 1919).

Я привожу только первые два ответа. Все прочие так же мало согласуются меж собой, как эти.

258

Albert Thomas. Bolchevisme ou socialisme. Berger-Levrault, 1919, pp. 13—14.

Programme d’Action du Parti socialiste, p. 6.

Человек с улицы (англ.).

261

Г-н Жорж Сорель писал в 1907 г.: «Часто в социалистической литературе ставится вопрос о будущей диктатуре пролетариата, по поводу которой не очень-то любят давать объяснения; иногда усовершенствуют эту формулировку и добавляют эпитет безличная к существительному диктатура, но и это не вносит ясность в данный вопрос» (Рассуждения о насилии, р. 250). Можно подумать, авторы «Программы» нарочно воскресили этот эпитет, к радости г-на Сореля и дабы он смог развернуть свои замечания по поводу «интеллектуалов, возложивших на себя задачу мыслить вместо пролетариата».

Или, по крайней мере, всей нации.

263

Programme d’action, p. 8.

Кардинал Мазарини утверждал (и был прав), что народ может вынести абсолютизм короля, которого он никогда не видит, но не смог бы долго выносить абсолютизм десяти тысяч феодалов по всей стране. По этой же причине диктатура ста тысяч большевистских комиссаров, терроризирующих ныне Россию,— самая невыносимая из тираний, которую когда-либо знала эта страна. Она хуже, чем тирания старого режима, ибо абсолютизм полицейских был все же умерен законами. Ситуация была бы еще хуже, если бы 99% этих комиссаров не были подкупными. Это последняя гарантия личных свобод в сегодняшней России.

265

Читаю в ответе г-на Буссатона на анкету «Л'Авенир» (№ 38, р. 285) следующий искренний крик запутавшегося человека. «Россия могла бы послужить нам, указав, как действовать, но почти невозможно узнать, что там происходит... Документы! Что до нравственного и гуманитарного аспектов, то что нам следует думать?»

266

Я называю Францию в качестве одной из самых просвещенных стран мира.

L'Humanité,11 juillet 1919.

L'Action Française, 11 juillet 1919.

269

Пять лет назад, несмотря на «святую республиканскую традицию», социалист, который высказался бы за смертную казнь, был бы, возможно, исключен из партии.

Le populaire, 12 juillet, 1919.

271

«Ибо в эпоху революции классовая борьба неминуемо и неизбежно принимала всегда и во всех странах форму гражданской войны, а гражданская война немыслима ни без разрушений тягчайшего вида, ни без террора...» (Ленин. Письмо к американским рабочим. Цит. по: ПСС, т. 37, с. 57-58).

Август Бебель произнес эту речь 19 августа 1904 г., на пленарном заседании съезда в Амстердаме. Что сказал бы Бебель, столь суровый по отношению к французским социалистам при виде того, что демонстрируют нам сегодня немецкие социалисты.

Albert Thomas. Bolchevisme ou socialisme, p. 7.

«Да будет Господь для него судией, полным милосердия» (Конец записи Николая II на донесении П. А. Столыпина, информирующего его о смерти Л. Н. Толстого.)

После покушения на Ленина было расстреляно 512 заложников, офицеров и буржуа (согласно официальным сведениям большевиков), чтобы отомстить за этот акт, по приказу Советского правительства. Как бы был доволен Жорес иметь таких почитателей, и впрямь какая для него слава, что они поставили ему памятник! Как права «Юманите», гордящаяся эти событием!

Петерс вместе с Дзержинским возглавляет Чрезвычайную Комиссию, жертвы которой исчисляются уже десятками тысяч.

277

См. вступление.

278

Charles Rappoport.Jean Jaurès, deuxième edition, 1916, pp. 369371.Я позаимствовал из этой книги две цитаты.

279

Н. Ленин. Крах II Интернационала. Коммунист, № 1-29 (1915). Цит. по: ПСС, т. 26, с. 225-226.

G. Zinovief. Des maraudeurs. Le Socialiste-Democrate, N 39 (1915).

Было бы весьма любопытно узнать, что французские большевистски настроенные социалисты думают об этой принципиальной разнице между 1-й мировой 1914 и франко-прусской войной 1870—71 годов, даже если франко-прусская война и впрямь была прогрессивной.

Замечу мимоходом — Жорес восхищался, как и положено, замечательной одаренностью и умственной мощью Карла Маркса. Но я не думаю, что интеллектуальная и нравственная личность этого великого борца была ему когда-либо по-настоящему симпатична. Г-н Поль-Бонкур рассказывает в своих воспоминаниях о Жоресе: «Я застал его читающим переписку Маркса и Энгельса. Жорес часто заново погружался в этот источник нашей доктрины... С чистосердечностью, которая придавала ему как бы свежесть детской души, он сказал мне, листая тяжелые страницы: „Как они были закрыты в своем учении, безразличны ко всему, что не имело отношения к их борьбе, несгибаемы в своих антипатиях. Я порой задаюсь вопросом, не слабость ли это, не уменьшает ли бойцовских качеств борца пытаться, как это делаю я, понять идеи других, быть доступным стольким другим чувствам, не имеющим отношения к политической и социальной борьбе”. И впрямь, огромная разница натур Маркса и Жореса — в этом; автор «Капитала» обладал обширными познаниями, но был по-настоящему доступен лишь для политических баталий, в соответствии со своими личными взглядами и их отражением в истории. В этом Ленин, не знающий и не понимающий почти ничего из того, что лежит за пределами большевизма, гораздо ближе Марксу, чем Жорес.

Jaurès. La conférence sur le militarisme de juillet 1905 (publiée par le Vorwaerts et citée dans le livre de V. Charles Rappoport).

Anatole France. Jaurès. L'Humanité, 26 mars 1919.

285

Jean Jaurès. Discours parlementaires, 1904.

«Есть особая жертва, которая имеет право на социальную кампанию и отдельное освобождение; эта жертва принадлежит к правящему классу, это капитан Генерального штаба; это человек, который в расцвете юных лет, богатый — за счет грабежа рабочих, эксплуатируемых его семейством, — и свободный в выборе жизненного пути: стать ли полезным членом общества, служить ли науке, — чем он обязан своим миллионам, нажитым за счет человечества, — избрал военную карьеру. Он сказал себе: «Интеллектуальное развитие, полученное мною, многие знания я употреблю на то, чтобы уничтожить себе подобных». Интересная жертва! (*Бурные аплодисменты.*) Да, я понимаю, что вы, рабочие, вы, крестьяне, которых отрывают от мастерской, от телеги, чтобы облачить в форму, дать в руки винтовку, *под предлогом защиты отечества* вы имеете право и даже обязаны взывать к нам, к организованному пролетариату, когда на вас обрушивается страшная военная справедливость, оттого что вы в казарме не по своей воле, оттого, что вы никогда не принимали ни правил, ни самой организации, ни так называемой военной справедливости, от которой страдаете, но он-то, он знал, что ему предстоит, когда выбрал военную карьеру; по своей охоте пошел он по этому пути, будучи сторонником военных действий до тех пор, пока считал, что они направлены против пролетариев, и что он, офицер, командир, приведет против них в движение эту слепую справедливость, да еще и при закрытых дверях. Такова была жертва, ради которой предполагалось мобилизовать все пролетарские и социалистические усилия» (Жюль Гед. Речь на лилльском ипподроме).

Я привел здесь эту длинную цитату оттого, что она представляет собой прекрасный образчик всех элементов фанатичного социализма, от которого не откажется и Ленин: легкая и красноречивая демагогия, призыв к инстинкту ненависти против жертвы, и чрезвычайно упрощенная философия. Судьба жестоко наказала г-на Жюля Геда, человека искреннего и совестливого, заставив его потрудиться в 1914-1915 гг., под предлогом защиты отечества, в сотрудничестве с жалкими «руководителями и офицерами»: он мог увидеть, что жизнь сложнее, чем фанатичные заклинания. Насколько же широкая и благодарная мысль Жореса превосходит этот узкий и слепой социализм.

Желаниях - (лат.).

У большинства это была — я говорю об этом как очевидец, — неколебимая, почти религиозная вера. Все предприятия, все ценности подскочили в цене, и при этом не находилось продавцов, все хотели приобретать, радостно дожидаясь продолжения роста цен. Несколькими месяцами спустя наступил крах: полубольшевизм Петлюры, большевизм Раковского, ультрабольшевизм Григорьева. Многие богатые люди расстались там со всем своим состоянием, не говоря уж о тех, кто расстался с жизнью.

289

Charles Rappoport. Op. cit, p. 59 et 372. Культ Жореса не мешает г-ну Раппопорту рассматривать ныне социальную революцию как единственный и приносящий облегчение рецепт против всех социальных болезней (см. его статью в Journaldu Peuple, 30 juillet 1919).

290

На седьмой день войны Германия обзавелась уже центральным комитетом по промышленности.

291

В 1917 г. Ленин сделал в Швейцарии доклад, позволяющий понять, насколько он был поражен практическими успехами немецкого военного социализма.

292

Сообщество Наций (Лига наций? — ред.) под председательством Вильсона приняло и рекомендует принимать правительствам спасительную идею восьмичасового рабочего дня, еще вчера окрещенную анархией, химерой, абсурдом и т.д.

293

Различии - (лат.).

Не существует стран, где они полностью разведаны или выработаны.

Я встречал в России ученых, именно так настроенных, они — лучшие из лучших; возможно, их немало и во всем свете.

296

Виктор Гюго. Девяносто третий год. Собрание сочинений в 15-ти томах. М., Гос. изд-во художественной лит-ры, 1956, с. 170 (Пер. Н. М. Жарковой).

В Германии была относительная свобода печати, всеобщее избирательное право, правда, несовершенное по форме. Огромные полномочия императора, не говоря уж о системе выборов в Пруссии, делали чисто иллюзорным суверенитет народа в этой стране.